
Людвиг
ВИТГЕНШТЕЙН
КУЛЬТУРА
И ЦЕННОСТЬ.
О ДОСТОВЕРНОСТИ



Людвиг ВИТГЕНШТЕЙН

КУЛЬТУРА И ЦЕННОСТЬ. О ДОСТОВЕРНОСТИ



Астрель
МОСКВА

УДК 1(091)
ББК 87.2
В54

Серия «Philosophy»

Ludwig Wittgenstein
CULTURE AND VALUE. ON CERTAINTY

Предисловие К. Королева

Перевод с английского Л. Добросельского

Компьютерный дизайн Э. Кунтыш

Печатается с разрешения издательства Blackwell Publishing Limited (a company of John Wiley & Sons, Inc.) и Агентства Александра Корженевского (Россия).

Подписано в печать 03.06.10. Формат 84x108 1/32
Усл. печ. л. 13,44 Тираж 2000 экз. Заказ 6764

Книга подготовлена издательством «Мидгард» (Санкт-Петербург)

Витгенштейн, Л.
В54 Культура и ценность. О достоверности. / Людвиг Витгенштейн; пер. с англ. Л. Добросельского — М.: АСТ: Астрель, 2010. — 250, [6] с. — (Philosophy).

ISBN 978-5-17-066303-3 (ООО «Изд-во АСТ»)
ISBN 978-5-271-28788-6 (ООО «Изд-во Астрель»)

Людвиг Йозеф Иоганн фон Витгенштейн (1889—1951) — гениальный британский философ австрийского происхождения, ученик и друг Бертрана Рассела, осуществивший целых две революции в западной философии XX века — ведь на основе его работ были созданы, во-первых, теория логического позитивизма, а во-вторых — теория британской лингвистической философии, более известная как «философия обыденного языка».

Настоящее издание включает две работы Людвига Витгенштейна «Культура и ценность», и «О достоверности», которые публикуются в новом переводе.

УДК 1(091)
ББК 87.2

НОВАЯ ДИАЛЕКТИКА, ИЛИ ПУТИ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ

> Смешным, я думаю, должно казаться... что из подражания посредством букв и слогов вещи станут для нас совершенно ясными. Однако это неизбежно, ибо у нас нет ничего лучшего, к чему мы могли бы прибегнуть для уяснения правильности первых имен, если, конечно, ты не хочешь, чтобы мы, как это делают трагические поэты в затруднительных случаях, прибегли к специальным приспособлениям, с помощью которых они поднимают наверх богов; ты ведь не хочешь, чтобы и мы так же отделались от нашего предмета, сказав, что первые имена установили боги и потому они правильны? Или и для нас это лучший выход?
>
> *Платон. Кратил**

Ближе к концу XIX столетия в европейской философии произошла революция: прежде объектом изучения философов являлись идеи, то есть философия представляла собой в первую очередь метафизику, а революция ознаменовалась сменой парадигмы — место идей заняли лингвистические сущности, в широком смысле, человеческий язык как способ описания мироздания и анализ языка как средство философского исследования мышления и знания. Постепенно, прежде всего усилиями немецких и британских ученых, начало складываться новое направление в философии — аналитическая философия.

Непосредственными «провозвестниками» революции были в Германии математик Г. Фреге и философ Э. Гуссерль, в Австрии школа Ф. Брентано, а в Великобритании — логик и философ Б. Рассел и философ Дж. Мур. При этом нельзя забывать (что весьма убедительно показано современными исследованиями): новое направление возникло вовсе не из ниоткуда, не на пустом месте; среди предшественников аналитической философии необходимо упомянуть прежде всего древнегреческую софистику и схоластические трактаты Средневековья, уделявшие немало внимания семантике, «идолов рынка» Ф. Бэкона, рассуждения Т. Гоббса о естественных

---

* Перевод Т. Васильевой.

и искусственных телах, комбинаторику Р. Декарта и Г. В. Лейбница, эмпирические теории Дж. Локка, Д. Юма и Дж. С. Милля. Иными словами, революция, восстание против «засилья метафизики», пусть даже не осмыслявшееся и не воспринимавшееся как таковое, назревало, и для того, чтобы оно произошло, понадобилось лишь появление формальной логики и утверждение последней в качестве инструмента философии. (Р. Рорти полагал, что метафизическая философия завершилась на Канте, учение которого есть высшая точка спекулятивной философии, а «промежуток» от Канта до Фреге есть с философской точки зрения некий период замешательства*.)

Наиболее важная и влиятельная фигура среди «провозвестников» аналитической революции — безусловно, Готлоб Фреге (1848–1925). По утверждению британского философа М. Даммита, Фреге предвосхитил «лингвистический поворот» во всех проявлениях последнего, от признания языка как способа постижения и описания мироздания до изучения философами повседневного употребления слов и прагматических исследований языка. Долгое время Фреге оставался — и во многом остается по сей день — в тени своих куда более знаменитых «духовных наследников», в частности Рассела и Л. Витгенштейна, однако именно Фреге аналитическая философия обязана тем, что постепенно сделалась стилем философского мышления: он разработал исходную методологию, позднее усовершенствованную Расселом, Муром, Витгенштейном и членами Венского кружка.

По Фреге, естественный язык несовершенен, его противоречия и двусмысленности сбивают с толка, а потому истинная философия требует создания некоего исчисления понятий, сходного с математическими исчислениями. Следовательно, к такому исчислению будет приложима формальная логика; а поскольку язык является средством накопления знаний о мироздании («объективного знания»), значит, формальному анализу подвержено и само знание, структура мысли, и нет ни малейшей необходимости изучать процесс мышления психологически: «Если задача философии — сломить господство слова над человеческим духом, раскрывая заблуждения... которые... практически неиз-

---

* *Рорти Р.* Американская философия сегодня // Аналитическая философия: становление и развитие. М., 1988.

бежно возникают из-за употребления языка, то мое исчисление... может стать для философов полезным орудием»*. Также Фреге сформулировал ставшее впоследствии общеупотребительным различение между смыслом (Sinn) и значением (Bedeutung) языкового выражения (так называемый «треугольник Фреге» знак—смысл—значение: имена «Утренняя звезда» и «Вечерняя звезда» оба обозначают планету Венера, они наделены разными смыслами, поскольку одно подразумевает появление Венеры на небосводе утром, а другое вечером, но имеют общее значение — планету Венера); кроме того, он первым высказал мнение, что слова имеют значения лишь в составе предложений, а потому значение предложения (любого сложного выражения) определяется значением его составляющих и отношениями между ними. Наконец Фреге ввел в оборот представление об истинностном значении повествовательных предложений: всякое подобное предложение либо истинно, либо ложно, причем все истинные предложения имеют одно значение (денотат), как и все ложные, хотя смысл этих предложений, как истинных, так и ложных, различен.

«Преемником» Фреге в Великобритании, где, собственно, и оформилась в 1930-х годах как философское направление аналитическая философия, стал Бертран Рассел (1872–1970). Он, во-первых, познакомил широкую общественность с основными идеями Фреге (приложение к «Основаниям математики», 1903), а во-вторых, сам разработал и представил метод «логического анализа» философских понятий на основе правил символической логики. При этом Рассел не отвергал «метафизику» в целом («Я постараюсь сформулировать... определенный вид логической доктрины и на основе этого... определенный вид метафизики»**), однако понимал ее в эмпирическом, даже номиналистическом духе: «Выдвигаемую мною философию можно назвать логическим атомизмом и абсолютным плюрализмом, ибо она утверждает, что имеется много отдельных предметов, и отрицает некоторое единство, составленное из этих предметов»***. В математике, строже — в математической логике, Рассел видел образец точности научно-

---

* *Фреге Г.* Логика и логическая семантика. Сборник трудов. М., 2000.

** *Russell B.* Logic and Knowledge. Essays 1891–1905. Lnd., 1956.

*** *Russell B.* Mysticism and Logic. Lnd., 1918.

го языка; посему математическая логика, к которой он прибегнул для уточнения и прояснения оснований математики, была для него «логически совершенным языком» для выражения знания как такового. По замечанию Дж. Урмсона, Рассел полагал, что «логика, из которой может быть выведена во всей ее сложности математика, должна быть адекватным скелетом языка, способного выразить все, что вообще может быть точно сказано»*. Концепция символической логики Рассела также известна под названием «логический атомизм»: анализ необходимо приводит к выявлению неких предельных и четких понятий, иначе «атомов» языка, которые в логически совершенном языке должны взаимно однозначно соответствовать фактам.

Сподвижником Рассела в переходе от «метафизических умствований» к «философии здравого смысла» стал его товарищ по Кембриджу Джордж Э. Мур (1873–1958). Рассел обратился к математике и логике, Мур же призывал к анализу философских понятий средствами обыденного языка с опорой на здравый смысл (одна его статья так и называлась — «Возрождение реализма и здравый смысл»). При этом он неоднократно отмечал, что обыденный язык грешит неверными употреблениями слов, и потому нельзя считать подлинно существующими некоторые хорошо известные философские проблемы: эти проблемы мнимые, поскольку возникли исключительно по причине «невразумительности» обыденного языка.

Концепции Фреге, Рассела и Мура оказали значительное влияние на молодого Людвига Витгенштейна, пускай последний и открещивался в «Логико-философском трактате» от каких бы то ни было влияний на свои воззрения. Итогом размышлений Витгенштейна стал «Трактат» (немецкое издание 1921, английский перевод 1922) — «алмазная сутра логики», произведение, совсем небольшое по объему, но чрезвычайно масштабное по глубине мысли. Все философские проблемы, утверждал Витгенштейн, суть проблемы «грамматические», связанные с непониманием отношений между словами языка и реальностью, точнее, с непониманием «логики нашего языка». Поэтому необходимо свести сколь угодно сложные суждения к неким элементарным суждени-

---

* *Urmson J. O.* Philosophical Analysis and its Development Between two Wars. Oxford,1956.

ям, представляющим простейшие элементы реальности — факты; целью философии является устранение тавтологий, «логическое прояснение мысли», а метафизическая философия мысль наоборот затемняет. При этом метафизику как таковую Витгенштейн вовсе не отрицал: достаточно вспомнить его рассуждения о том, что суть соответствия между суждением и фактом (логическую форму) невозможно высказать в словах, хотя оно, безусловно, имеет место, а также знаменитое «О чем нельзя сказать... о том следует молчать».

Обыденный язык, вслед за своими предшественниками подчеркивал Витгенштейн, несовершенен и «темен», следовательно, для философии, понимаемой как совокупность методов уточнения картины реальности языковыми средствами, необходимо создание логического языка, в котором все будет ясно, четко и строго определено: и понятия, и отношения между ними. Эту идею подхватили представители направления, впоследствии получившего наименование логического позитивизма (Венский кружок — М. Шлик, О. Нейрат, Р. Карнап, К. Гедель и другие, а также сотрудничавшие с кружком Г. Рейхенбах, Ф. Франк, А. Айер). Они провозгласили, что единственно правильным критерием значения какого-либо предложения является возможность его проверки (верификация); если предложение не верифицируется, оно является логической тавтологией. Следует отметить, что логические позитивисты придерживались в целом весьма радикальных для философии воззрений; в частности, Рудольф Карнап опубликовал статью «Преодоление метафизики логическим анализом языка», своего рода манифест логического позитивизма, крайнее выражение антиметафизических настроений. Представители Венского кружка полагали, что создание совершенного логического языка способно устранить традиционные философские проблемы (бытие и сознание, свобода и необходимость, добро и зло и пр.), «бессмысленные» с их точки зрения, и тогда последние исчезнут сами собой, останется лишь конкретика природы, изучаемой естественными науками.

Как писал В. П. Руднев, «именно Венский кружок окончательно и наиболее последовательно сформулировал доктрину логического позитивизма. "Трактат" Витгенштейна стал для них чем-то вроде Библии, что отчасти было основано на недоразумении. Витгенштейн не был логическим позитивистом, хотя в "Тракта-

те" и содержалось несколько параграфов логико-позитивистского толка... Вскоре членам Кружка стало ясно, что Витгенштейн ни в коей мере не является логическим позитивистом, что его установки во многом противоположны их установкам»*.

С приходом к власти в Германии, а потом и в Австрии Гитлера многие немецкие и австрийские ученые были вынуждены эмигрировать; одни осели в Америке, другие в Великобритании. Первые — речь, конечно же, исключительно о философах и логиках — в итоге подпали под влияние прагматизма (У. Джеймс, Ч. С. Пирс**), вторые же, вопреки радикальной идеологии Венского кружка, примкнули к традиции философского анализа, как его понимали Рассел и Мур. И те, и другие видели суть философской деятельности в анализе языка и соблюдении строгости определений. Философский анализ понимался преимущественно как анализ логический: логика позволяет обнаружить погрешности обыденного языка и его структуры, оценивать точность формулировок и тем самым устранять мнимые проблемы.

Витгенштейн повторно приехал в Великобританию в 1929 году, через восемнадцать лет после первого визита, успешно защитился, получил докторскую степень — и последующие почти 20 лет читал в Кембридже лекции по философии. (Позволим себе немного отвлечься от темы. Американский философ Н. Малкольм, ученик Витгенштейна, вспоминал о том, как выглядели эти лекции: «Читая лекцию... Витгенштейн всегда говорил отчетливо и очень выразительно. Он говорил на отличном английском языке — так, как говорят образованные англичане, но с вкраплени-

---

* *Руднев В. П.* Божественный Людвиг // Витгенштейн Л. Избранные работы. М., 2005.

** Пирс пытался создать философскую систему, опирающуюся на достижения и методы науки, но совместимую с догмами христианства. Для этого он полагал необходимым превратить метафизику в строгую науку и доказать, что наука предполагает метафизическое учение, которое не отвергает религию. Он считал, что в любой момент времени наше знание о реальности носит частичный и предположительный характер, посему «значение представления» (о реальности) заключается в его логических последствиях. Прагматизм Пирс определял как «теорию логического анализа, или истинного определения».

Кроме того, Пирс ввел в употребление термин «семиотика» в качестве наименования общей теории знаков.

ем отдельных германизмов. Витгенштейн сидел в центре комнаты на простом деревянном стуле. Он часто чувствовал, что зашел в тупик. Нередко у него вырывались такие выражения, как "Я дурак", "У вас ужасный учитель", "Сегодня я очень глуп". Иногда он выражал сомнение в том, сможет ли продолжать лекцию. Он был очень нетерпелив и легко раздражался. Если кто-нибудь чувствовал несогласие с тем, что он говорил, Витгенштейн настойчиво требовал от оппонента, чтобы тот четко сформулировал свое возражение... Он постоянно бился над разрешением сложнейших философских проблем. Решение одной проблемы влекло за собой другую. Витгенштейн был бескомпромиссен: он должен был достичь полного понимания. Он был в неистовстве. Все его существо находилось в величайшем напряжении...»*)

Как философ Витгенштейн к тому времени едва ли не полностью поменял свои воззрения. По мнению многих исследователей, изменить взгляды на философию, природу языка и способы познания мира его побудили те шесть лет, которые он, порвав с академической наукой, провел в предгорьях Австрийских Альп. Там он преподавал грамоту, арифметику и основы естествознания крестьянским детям. Пожалуй, не будет преувеличением сказать, что эти шесть лет оказались тем самым водоразделом, который отделил «раннего» Витгенштейна — строгого логика, приверженного поискам истинного языка философии — от Витгенштейна «позднего», уже не столько теоретика, сколько практика, точнее, прагматика, стремящегося описать не идеальную логическую структуру мироздания, а систему взаимодействия логических понятий в повседневном употреблении языка. (Впрочем, биограф и издатель работ Витгенштейна логик Г. Х. фон Вригт считал, что перемена в воззрениях наступила позже: «Около 1933 года в воззрениях Витгенштейна произошли радикальные изменения. А именно: у него возникли основные идеи, развитием и разработкой которых он занимался всю оставшуюся жизнь... "Новая" философия Витгенштейна связана с отрицанием некоторых фундаментальных принципов "Трактата". Это относится к теории языка как образа реальности, к положению о том, что все значимые пропозиции состоят из простых, и к теории о невыразимом. Кто-то, воз-

---

* *Малкольм Н.* Людвиг Витгенштейн: воспоминания // Людвиг Витгенштейн: человек и мыслитель. М., 1993.

можно, скажет, что некоторые из этих вопросов уже и так не находились в центре внимания философов. Однако, если у других изменения во взглядах были связаны главным образом с дальнейшим развитием уже существующих философских проблем (совсем не обязательно поставленных в ранней работе Витгенштейна), то перемена в воззрениях самого Витгенштейна свидетельствовала о полном отходе от существующих направлений мысли»*.)

Так или иначе, Витгенштейн отказался от прежних взглядов и начал отстаивать свою новую концепцию, не менее горячо и категорично, чем прежде отстаивал положения «Трактата». Он внезапно сделал открытие: оказывается, в языке помимо повествовательных предложений, о которых говорилось в «Трактате» (и которые в итоге можно свести к констатации: «Дело обстоит так-то и так-то»), существуют предложения вопросительные, восклицательные, призывы, просьбы, клятвы, модальные конструкции и тому подобные, и ко всем этим предложениям строгая логика «Трактата» не слишком применима. По замечанию В. П. Руднева, «если в "Логико-философском трактате" язык представляется как проекция фактов и предложение всегда либо истинно, либо ложно — третьего не дано, то в 1930-е годы происходит поворот в сторону прагматики, то есть слушающего и реальной речевой ситуации. Витгенштейн теперь со свойственным ему жаром отвергает свою старую концепцию языка: язык не констатация фактов и не всегда высказывание истины и лжи»**. Новооткрытые суждения Витгенштейн назвал языковыми играми — а также формами жизни: «Говорить на каком-либо языке значит жить»; при этом, вопреки утверждению фон Вригта, он не отказался от представления о языке как образе реальности, но видоизменил это представление: реальность, воспринимаемая посредством языка, есть совокупность языковых игр. Понятие языковой игры стало определяющим для философской концепции «позднего» Витгенштейна; анализу языковых игр посвящены «Философские исследования», да и в опубликованных в настоящем издании работах он не единожды затрагивает этот предмет. Задачу же философа Витген-

---

* *Вригт Г. Х., фон.* Людвиг Витгенштейн. Биографический очерк // Людвиг Витгенштейн: человек и мыслитель. М., 1993.

** *Руднев В. П.* Языковая игра // Руднев В. П. Словарь культуры XX в. М., 1997.

штейн по-прежнему видел в том, чтобы помочь человеку разобраться в обыденном языке.

Новая концепция Витгенштейна оказала существенное влияние на аналитическую философию, благодаря ей в 1940-х годах в Великобритании сложилась школа лингвистического анализа, представитель которой Дж. Остин сформулировал знаменитую теорию речевых актов. Книга Остина, в которой излагались основы этой теории, дословно называлась «Как манипулировать вещами посредством слов» (опубликованный русский перевод носит название «Слово как действие»*), и это название отлично раскрывает суть теории: в языке немало слов и суждений, которые не просто описывают реальность, но сами являются этой реальностью — например, глаголы «объявлять», «приветствовать», «обещать» и т. п.; такие глаголы и суждения, их включающие, Остин назвал *перформативными*, то есть глаголами и предложениями действия. Эти речевые акты вполне соотносились с витгенштейновской концепцией языковых игр; позднее было даже высказано предположение, что все без исключения глаголы являются перформативными, а все суждения языка — соответственно потенциальными речевыми актами, только в одном случае перформативность очевидна, а в другом — подразумевается (так называемая пресуппозиция, когда нечто не произносится вслух, но тем не менее имеется в виду). Витгенштейн рассуждал об истинности или ложности суждений, Остин же ввел в употребление критерий успешности/неуспешности речевого акта: «обещаю и делаю» — речевой акт успешен, «обещаю и не делаю» — речевой акт неуспешен.

Впоследствии остиновскую теорию речевых актов углубил и уточнил американский философ Дж. Серль (предложивший, в частности, различение прямых и косвенных речевых актов). Несколько упрощая, можно сказать, что из витгенштейновской концепции языковых игр и из теории речевых актов выросла лингвистическая прагматика — дисциплина, изучающая условия использования языка (контекст) в актах речевого общения. Среди других направлений аналитической философии, «наследовавших» концепции языковых игр, можно упомянуть лингвистическую терапию Дж. Уиздома («язык лечит говорящего и слушающего»), лин-

---

* *Остин Дж.* Слово как действие // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 17. Теория речевых актов. М., 1986.

гвистическую апологетику Дж. Хадсона (отношения человека с Богом представляют собой разновидность языковой игры), философию вымысла Дж. Вудса и С. Крипке («если Шерлок Холмс и не существовал, он мог бы существовать при других обстоятельствах»).

В целом ранняя аналитическая философия была, по выражению Рассела, философией логики, тогда как поздняя аналитическая философия стала философией прежде всего лингвистической; даже «проблема сознания» анализировалась с точки зрения обыденного языка — достаточно упомянуть работу «Понятие сознания» Г. Райла. Произошла и своего рода «реабилитация» метафизики, опять-таки при условии языкового анализа, и постепенно сделалось непонятным, «где кончается лингвистика или психология и начинается философия»*. И во многом современная аналитическая философия развивается именно по пути, намеченному «поздним» Витгенштейном, а не Расселом или Фреге («первым аналитическим философом», по выражению американского философа Г. Слуги**).

Ныне аналитическая философия, ставшая широким междисциплинарным направлением, ориентирована на создание общей теории языка; как писал В. П. Руднев, «современная аналитическая философия — это огромная "фабрика мысли" с большим количеством интеллектуальных цехов... Ответить на свой основной вопрос: "Где кончается язык и начинается реальность?" — аналитическая философия, пожалуй, так и не смогла, но в процессе ответа было сделано так много интересного, что можно с уверенностью сказать, что эта языковая игра стоила свеч»***.

Кирилл Королев

---

* *Страуд Б.* Аналитическая философия и метафизика // Аналитическая философия. Становление и развитие. М., 1988.

** *Sluga H.* Gottlob Frege. Lnd., 1980.

*** *Руднев В. П.* Аналитическая философия // Руднев В. П. Словарь культуры XX в. М., 1997.

КУЛЬТУРА И ЦЕННОСТЬ

ПРЕДИСЛОВИЕ К ИЗДАНИЮ 1977 ГОДА

В рукописном наследии Л. Витгенштейна имеется множество заметок, не относящихся напрямую к философским исследованиям, пусть они и разбросаны среди текстов философского содержания. Некоторые из этих заметок автобиографичны, другие касаются природы философской деятельности, а иные посвящены общечеловеческим проблемам, например искусству или религии. Отделить их от собственно философских текстов возможно далеко не всегда, однако сам Витгенштейн зачастую отделял эти заметки — при помощи скобок или иными способами.

Частично эти заметки, что называется, мимолетны и преходящи, но большинство из них представляет значительный интерес, содержит изящные рассуждения и поразительные по глубине мысли. Распорядители духовного наследия Витгенштейна, сознавая ценность этих заметок, поручили Г. Х. фон Вригту подготовить их к публикации.

Это была нелегкая работа, в процессе которой сама концепция издания неоднократно менялась. К примеру, в начале я предполагал, что заметки следует разместить тематически — в таких разделах, как «Музыка», «Архитектура», «Шекспир», «Афоризмы житейской мудрости»,

«Философия» и т. п. Категоризации заметки в принципе поддавались, однако в целом материал производил впечатление искусственности. Кроме того, рассматривалась возможность дополнить заметки уже опубликованными текстами — ведь многие из чеканных афоризмов Витгенштейна содержатся в его философских работах, в «Дневниках» времен Первой мировой войны, в «Логико-философском трактате» и в других произведениях. Необходимо отметить, что именно в контексте эти афоризмы обнаруживают свою истинную глубину; и по этой же причине помещать их вне контекста было сочтено нецелесообразным.

Затем я решил подготовить «избранные» заметки, так сказать, лучшие из лучших, заключив, что иначе они рискуют затеряться в массе прочего материала. Но довольно скоро я осознал, что никто не назначал меня арбитром вкуса; вдобавок я не слишком доверял собственному суждению, чтобы отдавать предпочтение какому-либо из вариантов суждений Витгенштейна касательно одного и того же предмета (нередко все вариации представлялись мне весьма значимыми).

В конце концов я остановился на компоновке, которая мне показалась безусловно правильной. Я исключил из публикации заметки сугубо личного свойства — те, в которых Витгенштейн комментирует события своей жизни, состояние своего рассудка и отношения с другими людьми (некоторые из них здравствуют до сих пор). По правде говоря, отделить эти заметки от прочих было несложно, поскольку они куда менее интересны, чем те, что опубликованы. Лишь в ряде случаев «личные» заметки показались мне интересными для широкой публики, и я включил их в настоящее издание.

Заметки расположены в хронологическом порядке, по году написания. Любопытно, что почти половина заметок относится к периоду после завершения (1945) первой части «Философских исследований».

В отсутствие объяснений некоторые заметки наверняка покажутся непонятными и загадочными тому читателю, который незнаком ни с биографией Витгенштейна, ни с кругом его чтения. Во многих случаях подобные темные места удалось разъяснить в редакторских примечаниях. Тем не менее я, как правило, воздерживался от комментирования, прибегая к нему лишь там, где было действительно необходимо.

Разумеется, подобного рода книга может попасть в руки читателя, которому основные философские труды Витгенштейна неизвестны и для которого они так и останутся неизвестными. Полагаю, такое знакомство не нанесет ему ущерба и не будет бесполезным; и все же, по моему мнению, постичь и оценить значение заметок возможно лишь в контексте витгенштейновской философии; более того, эти заметки помогают нам лучше понять философию Витгенштейна.

Я начал подбирать материал для публикации в 1965–1966 годах, а затем отложил эту работу и вернулся к ней лишь в 1974 году. На заключительном этапе существенную помощь мне оказал г-н Хейкки Нюман, который также сверил публикуемый текст с рукописями, исправил обнаруженные ошибки и восстановил лакуны. Я крайне признателен ему за приложенные усилия, скрупулезность и отменный вкус. Без его помощи я вряд ли бы сумел подготовить окончательный вариант текста. Также хочу поблагодарить за корректуру и ценные советы г-на Раша Риса.

Георг Хенрик фон Вригт,
Хельсинки, январь 1977 года

ПРЕДИСЛОВИЕ К ИЗДАНИЮ 1994 ГОДА

Настоящее издание подготовлено к публикации Алоисом Пихлером. Мистер Пихлер, который трудится в Витгенштейновском архиве при Университете Бергена, заново сверил заметки с рукописями и исправил ошибки предыдущих публикаций, прежде всего места, с трудом поддававшиеся прочтению. Необходимо отметить, что и составитель первого издания за минувшие годы выявил часть этих ошибок.

В настоящее издание включены те же заметки, что и в предыдущие публикации, однако их расположение немного изменено в соответствии со стилистикой Витгенштейна, который, как известно, писал короткими абзацами и разделял абзацы одной или двумя строками. В предыдущих изданиях, кроме того, некоторые заметки публиковались не полностью, так как составитель счел их «несущественными»; подобную точку зрения многие сочли неверной, и в настоящем издании купюры восстановлены. Музыкальная нотация и рисунки воспроизводятся благодаря помощи Майкла Биггса из Университета Хартфордшира.

Заметки дополнены стихотворением, которое Л. Витгенштейн в свое время подарил гофрату Людвигу Ганзелю. Мы полагаем, что это стихотворение написано самим

Витгенштейном, и воспроизводим здесь печатный вариант (рукописный, к сожалению, по-видимому утерян, а установить год написания стихотворения не представляется возможным). Фонд Витгенштейна благодарит профессора Германа Ганзеля (Вена) за предоставление в распоряжение издателя этого уникального документа.

Мы с Алоисом Пихлером также благодарим Витгенштейновский архив при Университете Бергена за профессиональную и техническую поддержку.

Георг Хенрик фон Вригт,
Хельсинки, ноябрь 1993 года

ОТ РЕДАКТОРА ОРИГИНАЛЬНОГО ИЗДАНИЯ 1998 ГОДА

История публикации. Сборник «Vermischte Bemerkungen» впервые опубликован в 1977 году; в следующем году увидело свет комментированное издание. Именно оно, с исправлениями и дополнениями, легло в основу 8-го тома полного собрания сочинений Л. Витгенштейна (1984). Настоящее издание соответствует изданию 1984 года, в нем также дополнен контекст и указаны разночтения.

Расположение. Заметки расположены в хронологическом порядке, что обусловило необходимость значительной перекомпоновки материала по сравнению с предыдущими изданиями. В ранних изданиях заметки иногда приводились не полностью; в настоящем издании это упущение исправлено.

Орфография, грамматика и пунктуация. Особенности авторской стилистики Витгенштейна, в частности приверженность строчным буквам, по возможности сохранены.

1914

Мы с лейтенантом[1] уже поговорили обо всем на свете; он отличный парень. Способен ужиться с отъявленными мерзавцами и дружелюбен без панибратства. Нашему уху гортанная речь китайца покажется тарабарщиной. А тот, кто понимает китайский, узнает в этой тарабарщине язык. То же верно для меня применительно к людям: я часто не могу узнать в человеке человеческое существо. Старался, было дело, но не преуспел.

1929

Нет религии, в которой столько бы грешили неверным использованием метафорических выражений, как в математике.

Человеческий взгляд обладает способностью наделять предметы ценностью; при этом они становятся куда дороже.

Я по-прежнему нахожу собственный путь в философии новым, и он не перестает меня поражать, потому-то я и повторяюсь столь часто. Он должен стать плотью и кро-

вью нового поколения, и уже тогда повторения прискучат. Для меня же они необходимы. Метод заключается в отказе от поисков истины, вместо которых мы задаемся вопросом о смысле.

Хорошо, что я не позволяю себе подпадать под влияние!

Удачное сравнение освежает интеллект.

Тяжело объяснить человеку со слабым зрением, как добраться куда-либо. Ему не скажешь: «Видите колокольню в десяти милях? Идите прямо к ней».

Просто позвольте говорить природе и признайте, что есть лишь одно на свете превыше природы, и это вовсе не мнение окружающих.

Когда дерево ломается, а не гнется, — это трагедия. В трагедии нет ничего еврейского. Мендельсон, пожалуй, — самый нетрагический из композиторов. Трагически цепляться, упорно держаться за трагическую ситуацию в любви всегда представлялось мне противным идеалу. Следует ли из этого, что мой идеал жалок? Не могу и не стану судить. Если он жалок, это плохо. Полагаю, мой идеал — мирный и добрый. Но упаси Господь мой идеал от жалости и приторности!

Новое слово подобно семени, брошенному в почву дискуссии.

Каждое утро пробиваешься сквозь омертвелую кожуру к теплой мякоти жизни.

С моим философским рюкзаком я карабкаюсь еле-еле на вершину горы Математики.

Мендельсон — не пик, а плато. В нем столько английского.

Никто не способен думать за меня, как никто не может надеть за меня шляпу.

Всякий, кто вслушается в плач ребенка, постигнет, какие сокрыты в нем психические силы, жуткие силы, отличные от всего, что привычно нам видеть в детях. Это всеохватная ярость, и боль, и жажда разрушения.

Мендельсон — как человек, который веселится, лишь когда всем весело, или добр, лишь когда все вокруг добры. В нем нет силы дерева, которое твердо стоит на месте, чтобы ни творилось вокруг. И я такой же и таким пребуду.

Мой идеал — холодная уверенность. Храм — прибежище для страстей, где страсти держат в повиновении.

Я часто спрашиваю себя, нов ли мой культурный идеал, то есть современен ли он или восходит ко временам Шумана. Во всяком случае он мнится мне продолжением шумановского идеала, пусть и не прямым. Я хочу сказать, что из этого продолжения выпала вторая половина XIX столетия. И это, должен признаться, произошло само собой, вовсе не было осмысленным решением.

Задумываясь о будущем мира, мы всегда представляем себе некое место, в котором мир окажется, если все будет идти так, как идет; и нам не приходит в голову, что мир движется не по прямой, а по кривой, направление которой постоянно изменяется.

Думаю, настоящую австрийскую культуру (Грильпарцер, Ленау, Брукнер, Лабор[2]) понять довольно тяжело.

В известном смысле она многозначнее любой другой, а истина, которой она привержена, никогда не тяготела к правдоподобию.

Добро божественно. В этом, как ни удивительно, суть моей этики.

Лишь нечто над-естественное способно выразить Сверхъестественное.

Нельзя вести людей к добру. Они могут идти лишь в конкретное место, а добро лежит вне пространства фактов.

1930

Недавно я сказал Арвиду[3], после того как мы вместе посмотрели в кинотеатре один очень старый фильм: современное кино в сравнении с прежним — все равно что современный автомобиль в сравнении с тем, который выпустили 25 лет назад. Впечатление, которое производит старый фильм, нелепое и даже неуклюжее, а достижения в производстве фильмов сопоставимы с теми улучшениями, которые мы наблюдаем в производстве автомобилей. Причем я говорю вовсе не — если правомерно употреблять это выражение — об улучшениях артистического стиля. И это же во многом относится к современной танцевальной музыке. Джазовый танец, подобно фильму, есть то, что может и должно быть лучше. Что отличает все эти улучшения от изменения стиля — то, что дух не играет в них никакой роли.

Сегодня различие между хорошей и дурной архитектурой заключается в том обстоятельстве, что дурная архитектура поддается любому искушению, а хорошая им противостоит.

Я как-то заметил, наверное, справедливо: прежняя культура постепенно становится кучей мусора, а затем превращается в горстку пепла; но дух парит над пеплом.

Используют солому, чтобы заткнуть бреши в органическом единстве искусства, но чтобы утишить голос совести, нужно много соломы.

Если кто-нибудь решит, что раскрыл тайну жизни, и скажет себе, что отныне все будет легко и просто, ему на самом деле, чтобы понять, что он ошибается, нужно лишь вспомнить, что были времена, когда его «открытия» не существовало; но и тогда можно было жить, а открытие, им совершенное, применительно к былому положению дел выглядит полностью случайным. И так же обстоит в логике. Если вдруг обнаружится «решение проблем философской логики», мы должны остеречь себя: бывали времена, когда таких решений не существовало (при этом люди жили и мыслили).

Энгельман[4] поведал мне, что копался дома в ящике со своими рукописями, и те показались ему столь удачными, что он счел их достойными публикации. (По его словам, то же ощущение возникло у него, когда он перечитывал письма от умерших родственников.) Но представив себе опубликованный текст, он почувствовал, что идея утратила всякое очарование. Я бы сказал, что этот случай объясняет следующее: нет ничего более восхитительного, чем наблюдать за кем-то, кто, не подозревая, что за ним наблюдают, занимается повседневными делами. Вообразим театр; занавес поднимается, и мы видим, как некий человек расхаживает по комнате, закуривает сигарету, садится в кресло и т. д., и мы внезапно понимаем, что наблюдаем за человеком таким образом, как никогда не сможем наблюдать за собой; мы словно воочию видим разыгранную главу из биографии, и это одновременно жутко и чудесно. Куда более чудесно, нежели любая фантазия драматурга, поставленная и озвученная на сцене. Мы наблюдаем саму жизнь. Но когда мы сами находимся в повседневности, она не производит на нас ни малейшего впечатления. Точно

так же когда Э. смотрит на свои рукописи и полагает их достойными (пусть даже не готов опубликовать хотя бы одну из них), он воспринимает свою жизнь как Божье произведение искусства, и в таковом качестве она безусловно заслуживает осмысления, как и все на свете. Но лишь художник способен изобразить нечто частное так, чтобы это изображение показалось нам произведением искусства; эти рукописи справедливо утратят свое значение, если мы станем анализировать их по отдельности и без предубеждения, то есть не испытывая заранее энтузиазма от их изучения. Произведение искусства побуждает нас — можно сказать и так — видеть нечто в правильной перспективе, однако вне искусства объект есть часть природы, подобная всем прочим, и то обстоятельство, что мы им восторгаемся по причине собственной восторженности, не дает никому права показывать его нам. (Я всегда вспоминаю одну из тех безвкусных пейзажных фотографий, которые интересны человеку, их снявшему, потому что он там был и что-то чувствовал, но посторонний взирает на снимки с оправданным равнодушием, насколько оправданно, конечно, смотреть на что-либо равнодушно.)

И все же мне представляется, что помимо художественного творчества есть и другой способ познать мир sub specie æterni*. Это, как я полагаю, способ осмысления: мысль парит над миром, ничего в нем не меняя, и осмысляет мир свысока.

В ренановском «Peuple d'Israël»[5] читаю: «Рождение, болезнь, смерть, безумие, каталепсия, сон, сновидения — все это производит глубокое впечатление и даже по сей день лишь немногие способны отчетливо видеть последствия этих явлений для нашего организма». Напротив, нет ни малейшей причины поражаться всему этому, потому что

* С точки зрения вечности (*лат.*).

оно происходит каждый день. Если этим восторгались первобытные человеческие существа, как же должны восторгаться обезьяны и собаки! Или если человеческие существа вдруг пробудились и заметили все эти явления, которые были всегда, и вполне оправданно поразились? Пожалуй, можно даже допустить что-то подобное, но не потому, что первобытные люди осознали это впервые, а потому, что они внезапно этому поразились. Но это не имеет никакого отношения к их примитивности. Или мы полагаем, что примитивность не способна ничему поражаться; тогда уж примитивны современные люди и сам Ренан, если он верит, что научное объяснение может вызвать восторг.

Как будто сегодня молния более распространена и менее удивительна, чем 2000 лет назад.

Чтобы удивляться, человеческие существа — быть может, народы — должны проснуться. Наука есть способ заставить их снова заснуть. Попросту неверно говорить: конечно, примитивные люди всему поражались. Возможно, правда, что эти люди поражались всему вокруг. Однако думать, что они обязаны были поражаться, значит впадать в примитивное суеверие. (Все равно что думать, что они обязаны были бояться всех сил природы, а мы, разумеется, бояться не обязаны. С другой стороны, опыт показывает, что некоторые первобытные племена испытывали весьма сильный страх перед явлениями природы. Но мы не можем исключать возможность, что высокоцивилизованные народы окажутся подверженными тому же самому страху, что цивилизация и знания не защитят от этого. Тем не менее верно, что дух современной науки несовместим с подобными страхами.)

Что Ренан называет bon sens précoce* семитских народов (я восторгался этой идеей давным-давно), есть их непоэтическая ментальность, которая прямиком ведет к конкретному мышлению. Это характеризует мою философию.

---

* Преждевременно созревшим здравым смыслом (*фр.*).

Предметы находятся у нас перед глазами, их не скрывает никакая завеса. Именно здесь расходятся религия и искусство.

Набросок предисловия[6]

Эта книга написана для тех, кто солидарен с духом изложенного в ней. Этот дух, я полагаю, отличается от духа господствующих европейской и американской цивилизаций. Дух этих цивилизаций есть выражение промышленности, архитектуры, музыки, фашизма наших дней и социализма, дух, который чужд и не свойственен автору. Это не оценочное суждение. Дело не в том, будто я не знаю, что то, что называется сегодня архитектурой, не есть архитектура, и не в том, что автор подходит к так называемой современной музыке с величайшим недоверием (не ведая ее языка); исчезновение искусства не оправдывает пренебрежительных суждений о целом этапе жизни человечества. В наше время цельные и сильные духом попросту покидают область искусства и обращаются к иным занятиям, и все же ценности индивида находят выражение. Конечно, совсем не такое, как во времена Высокой Культуры. Культура похожа на большую организацию, в которой каждый сотрудник знает свое место, где он может трудиться на общее благо, и его сильные стороны с известной долей точности определяются его успехами в рамках общего. Во времена отсутствия культуры происходит разобщение, и силы индивида расходуются впустую на преодоление противных сил и различных препятствий; это проявляется не в преодоленном расстоянии, но, пожалуй, в пыле, порожденном преодолением препятствий. Однако энергия остается энергией, и даже если зрелище, представляемое нашим веком, не превратится в великое достижение культуры, где лучшие объединят усилия на общее благо, как в малопривлекательной толпе, лучшие представители которой преследуют собственные цели, — даже в

этом случае мы не должны забывать, что зрелище само по себе не имеет значения.

Пусть мне ясно, что исчезновение культуры не означает исчезновения человеческих ценностей, а просто гибель некоторых способов выражения этих ценностей, — все равно остается фактом, что к современной европейской цивилизации я отношусь без сочувствия и не понимаю ее целей, буде таковые имеются. На самом деле я пишу от имени друзей, раскиданных по различным уголкам земного шара. Для меня едино, понимает ли типичный западный ученый мою работу и ценит ли ее, поскольку он в любом случае не постигает духа того, о чем я пишу.

Наша цивилизация характеризуется словесным прогрессом. Прогресс есть ее форма, а не одно из свойств, при помощи которых она развивается. Обычно она конструирует. Ее деятельность состоит в конструировании все более и более сложных структур. И даже ясность есть средство достижения цели, а не сама цель.

Для меня, напротив, ясность, отчетливость является целью. Я не хочу строить здание, но хочу отчетливо наблюдать фундамент возможных построек.

И потому я стремлюсь к иному, чем ученые, и мои мысли движутся иначе, чем у них.

Каждое предложение, написанное мною, пытается выразить целое, снова и снова, как если бы я осматривал какой-либо предмет с различных сторон.

Можно сказать: если туда, куда я хочу попасть, можно лишь взобраться по лесенке, я туда не полезу.

Ведь место, в которое мне нужно попасть, есть то, в котором я уже нахожусь.

Все, куда можно взобраться по лесенке, меня не интересует.

Одно движение велит мысли следовать за мыслью, и все они ведут в одно и то же место.

Одно движение создает и вкладывает (в руку) камень, и все они ведут к одной цели.

Опасность длинного предисловия заключается в том, что дух книги должен вытекать из самой книги и не может быть описан.

Ибо если книга написана лишь для нескольких читателей, это станет ясно из того, что лишь немногие ее поймут. Книга должна автоматически разделять тех, кто ее понимает, и тех, кто не понимает. И предисловие написано как раз для тех, кто понимает.

Объяснять кому-то то, чего он не понимает, бессмысленно, даже если допустить, что он не в состоянии этого понять. (Такое часто случается с теми, кого любишь.)

Если вы не хотите впускать кого-то в свою комнату, вы вешаете на дверь замок, от которого у них нет ключа. Но говорить с ними бессмысленно, если вы только не хотите, чтобы они все-таки восхищались вашей комнатой извне.

Достойно вот что: запереть двери, привлекающие лишь тех, кто способен их открыть, а остальные пусть идут мимо.

Но справедливо сказать, что в моем понимании эта книга не имеет ничего общего с прогрессивной цивилизацией Европы и Америки.

Что эта цивилизация есть, быть может, окружение, необходимое для духа, но цели у них различные.

Всего ритуального (так сказать, обносков верховного жреца) следует категорически избегать, потому что оно гниет на глазах.

Конечно, и поцелуй ритуален, однако в нем нет гнили; но нельзя допускать ритуалов серьезнее и искреннее поцелуя.

Велико искушение ясно выразить дух.

Когда натыкаешься на пределы собственной благопристойности, кажется, будто окунаешься в водоворот мыслей; это бесконечное отступление: можно говорить что угодно, но дальше не идешь.

Читаю Лессинга[7] (о Библии): «Прибавьте к этому словесные украшения и стиль... Она изобилует тавтологиями,

но в своем роде упражняет сознание, говорит и подразумевает одно и то же или говорит одно, а подразумевает совсем иное, во всяком случае намекает на это...»

Если я не знаю, как мне начать книгу, то потому, что мне не все ясно. Ибо я хотел бы начать с исходных положений философии, письменных и речевых предложений, с книг. И тут мы сталкиваемся с проблемой: «Все течет». Быть может, именно отсюда и следует начинать.

1931

Если кто-то попросту опережает время, оно его однажды нагонит.

Музыка с ее немногочисленными нотами и ритмами некоторым людям кажется примитивным искусством. Но проста она лишь на поверхности; ее суть, которая и делает возможным явленное содержание, обладает бесконечной сложностью, присущей иным формам искусства, а в музыке скрытой от глаз. В определенном смысле она — самое сложное из искусств.

Есть проблемы, которых я никогда не затрагивал, которые не входят в сферу моих интересов и не принадлежат моему миру. Проблемы интеллектуального мира Запада, которых касались Бетховен (и, быть может, Гете) и с которыми сражались, но к которым не подступался ни один философ (разве что Ницше подошел достаточно близко).

Быть может, они утрачены для западной философии, так как у нас нет никого, кто воспринимает эту культуру эпически и потому способен описать развитие этой культуры как эпос. Или, точнее, она больше не эпична или остается эпичной только для тех, кто наблюдает ее извне; быть может, это и делал Бетховен, опираясь на предвидение (как намекает в одном из своих текстов Шпенглер). Можно сказать, что цивилизация способна породить эпического

поэта лишь заблаговременно. Так человек может лишь предвидеть собственную смерть и описать ее как некое событие в будущем, но не составить о ней отчет. Так что скажем: если желаете увидеть эпос культуры записанным, надлежит искать его в трудах величайших фигур этой культуры и, следовательно, во времени, когда конец этой культуры лишь провидится, поскольку позднее не будет уже никого, чтобы что-либо описать. И потому не удивительно, что эпос будет записан на темном языке искажений, понятном лишь немногим.

Но я вовсе не касаюсь этих проблем. Когда я «покончил с миром», я создал аморфную (прозрачную) массу, и мир во всем своем многообразии пристроился к ней, как к дому пристраивается малопривлекательный чулан.

Или, более точно: исход работы в целом состоит в том, что мир отодвигается в сторону. (Это «очуланивание» мира.)

В этом мире (моем) нет трагедии и той бесконечности, которая порождает трагедию (в результате).

Как если бы все было растворено в эфире, и не было твердости.

Это означает, что твердость и конфликты являются не чем-то полезным, но дефектом.

Конфликт разрешается так же, как ослабляют пружину механизма, промывая ее азотной кислотой. В этом разрешении конфликта напряжения не существует.

Если я скажу, что моя книга предназначена лишь для малого круга читателей (при условии, что их можно назвать кругом), это не будет означать, что сей круг является в моем понимании элитой человечества, а всего-навсего кругом, к которому я обращаюсь (не потому, что они лучше или хуже других, но потому, что они образуют мое культурное окружение, как соотечественники по сравнению с иностранцами).

Пределы языка проявляют себя в невозможности описать факт, соответствующий (являющийся переводом) предложению, не повторив просто-напросто это предложение.

(Здесь мы подпадаем под кантовское решение «проблемы философии».)

Могу ли я сказать, что драма имеет собственное время, которое не является частью исторического временй То есть я могу рассуждать внутри нее о прошлом и будущем, но не будет иметь смысла вопрос, происходили ли события, в ней описанные, скажем, до или после смерти Цезаря.

Очаровательная разница температур в разных частях человеческого тела.

Унизительно представлять себя пустой трубкой, наполненной лишь мозгом.

Никому не нравится быть обиженным; так почему же все радуются, когда другой не показывает, что обижен? Никому не захочется возиться с искалеченным спаниелем. Запомните это. Куда проще терпеливо — толерантно — избегать человека, тебя обидевшего, нежели предлагать ему дружбу. Для этого потребно мужество.

Чтобы знаться с тем, кому вы не нравитесь, нужно не только особое добродушие, но и особый такт.

Мы сражаемся с языком. Мы вовлечены в сражение с языком.

Сравните решение философских проблем с волшебным даром: в зачарованном замке из сказки он поражает, а при дневном свете подарок выглядит обыденно, как кусок железа (или что-то вроде того).

Мыслитель во многом подобен чертежнику, который стремится отобразить все пересечения линий.

Фрагменты музыки, сочиненные перебором клавиш, те, которые возникли из-под пера, и те, которые сочинены в воображении, должны существенно различаться и производить принципиально разное впечатление.

Я уверен, что Брукнер сочинял в голове, воображая выступление оркестра, а Брамс пользовался пером. Конечно, это упрощение, но оно многое проясняет.

Трагедия вполне могла бы всегда начинаться словами: «Ничего не случилось бы, если бы не...»

(Если бы его не затянуло в машину за полу одежды?)

Но разве не слишком просто полагать, что трагедия лишь показывает, как одна встреча может изменить жизнь?

Думаю, должны быть представления, которые играют в масках. Персонажами будут стилизованные человеческие существа. Это очевидно в сочинениях Крауса[8]. Его пьесы должны исполняться именно масками. Разумеется, это связано с известной абстрактностью этих сочинений. И театр масок, я полагаю, был бы в любом случае выражением интеллекта. Вероятно, поэтому в такой театр ходили бы одни евреи.

Фрида Шанц[9]:

Туман. Преследует нас осень.
Смех словно блеклый.
Мир затих сегодня,
Как будто ночью умер.
В багрянце изгороди
Шевелятся стрекозы.
День сонный, тусклый;
Он не проснулся...

Я взял это стихотворение из «Rösselsprung»[10], и пунктуации там, конечно, не было.

Так что я не знаю, является ли слово «Туман» названием или относится к первой строчке, как записано у меня. И поразительно, сколь тривиально звучит стихотворение, если начинать его словом «Преследует», а не «Туман». Одно слово меняет весь ритм.

То, чего ты достиг, не может для других значить больше, чем для тебя. Чего бы успех тебе ни стоил, они заплатят не дешевле.

Еврей — как пустыня, где под тонкой коркой камня таится застывшая лава духа.

Грильпарцер: «Как легко бродить на приволье, как тяжело постичь частное и близкое...»

Как бы мы себя ощущали, не ведай мы о Христе? Были бы мы одни и во тьме? Разве мы не ощущаем этого, словно дети, не знающие, есть ли в комнате кто-то, кроме них? Религиозное безумие проистекает из безрелигиозности.

Я смотрю на фотографию корсиканских разбойников и думаю: эти лица слишком суровы, а мое слишком мягко, чтобы на них запечатлелась христианская вера. Лица разбойников жуткие, и все же они вовсе не далеки от хорошей жизни, просто находятся по другую ее сторону по сравнению со мной.

Признание должно стать частью новой жизни.

В стремлении выразить то, что мне хотелось, я никогда не преуспевал более чем наполовину. Даже меньше, скорее, на одну десятую. Это должно что-то значить. Мои записки зачастую не более чем «бормотание».

Святой — единственный еврейский «гений». Даже величайший еврейский мыслитель не более чем просто талантлив. (Я сам, к примеру.)

Думаю, отчасти правда, что я лишь репродуцирую в своих размышлениях. Думаю, я никогда не изобретал новое направление мыслей, мне всегда давали его другие, и я сам лишь страстно принимался за прояснение. Таким образом повлияли на меня Больцман, Герц, Шопенгауэр, Фреге, Рассел, Краус, Лоос, Вайнингер, Шпенглер, Страффа[11]. Можно ли в качестве примера еврейского репродуктивного мышления привести Брейера[12] и Фрейда? Я изобретаю новые сопоставления.

В пору, когда я позировал Дробилю[13], стимул к действию был у Дробиля, а я опять-таки занимался прояснением. Полагаю, что для всякого прояснения необходимо приступать к нему мужественно; без мужества оно становится просто игрой ума.

Еврей должен в полном смысле «заниматься своим делом»[14]. Но для него это особенно сложно, потому что сам по себе он — ничто. Намного труднее добровольно стать бедным, когда вы бедны, чем когда вы можете разбогатеть.

Можно сказать (справедливо или нет), что еврейский ум не способен породить даже крохотную травинку или цветок, но что он в состоянии начертить образ травинки или цветка, возникший в сознании другого, и затем использовать его, чтобы нарисовать полноценную картину. Это не значит поощрять порок, и все в порядке, пока делается осознанно. Опасность возникает, лишь когда кто-либо путает природу еврейского труда с природой не-еврейского труда, особенно когда автор первого сам так поступает, что вполне возможно. («Разве он не выглядит таким гордым, будто подоил сам себя?»[15])

Для еврейского ума типично понимать чужие труды лучше, нежели собственные.

Когда я заключил картину в раму или повесил ее в правильном окружении, я часто ловлю себя на гордости, будто я ее нарисовал. Вообще-то не так: не будто я ее нарисовал, но будто помог нарисовать, как если бы произнес написанное красками. Словно замечательный аранжировщик букетов наконец-то решил, что сам создал по крайней мере одну травинку. Тем не менее ему должно быть ясно, что его поле деятельности — совсем иное. Процесс, которым обретает существование малейшая былинка, ему совершенно неведом и чужд.

Образ плодоносящей яблони, сколь угодно точный, в известном смысле походит на прообраз бесконечно меньше, чем мельчайшая маргаритка. И в этом смысле симфония Брукнера куда ближе к симфонии героического периода, чем к малеровским. Последние — произведения искусства, но совсем другого сорта. (Определение по сути шпенглеровское.)

Как бы то ни было, в Норвегии в 1913–1914 годах меня посещали собственные мысли, так мне во всяком случае кажется теперь. То есть мне кажется, что я в ту пору порождал новые направления мысли. (Возможно, я ошибаюсь.) А ныне я лишь прилагаю старые.

В характере Руссо есть что-то еврейское.

Если сказать по конкретному поводу, что чья-то философия зависит от темперамента, в этом будет толика правды. Предпочтение тем или иным сопоставлениям мы называем следствием темперамента, и в этом кроется куда больше разногласий, чем кажется на первый взгляд.

«Смотрите на бородавку как на орган вашего тела!» Кто на это способен?

В моей ли власти решать, какова должна быть идеальная конституция моего тела?

В истории народов Европы история евреев трактуется столь обстоятельно, сколь она того заслуживает из-за вмешательства в европейские дела, и в ходе этой истории евреев воспринимали как болезнь, напасть, аномалию, и никто не хотел заболеть этой хворью.

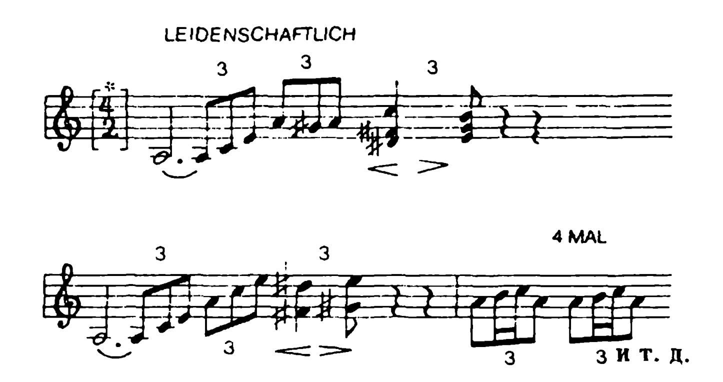
Мы можем сказать: эту бородавку следует воспринимать как орган тела, только если наше восприятие тела изменится полностью (если изменится национальное чувство тела). Иначе нам придется попросту примириться с ней.

От индивида можно ожидать подобного терпения или даже пренебрежения; однако от народа этого не дождешься, поскольку народ становится народом, лишь не пренебрегая подобным. То есть налицо противоречие в ожидании того, что некто сохранит исходное эстетическое восприятие тела и одновременно будет рад бородавкам.

Власть и обладание — не одно и то же. Пусть даже обладание наделяет властью. Если о евреях говорят, что они не испытывают стремления к обладанию, отсюда предположительно вытекает их тяга к богатству; деньги для них есть вид власти, а не обладания. (Я, к примеру, не хочу, чтобы мой народ был беден, поскольку я хочу для них некоторой власти. Естественно, я хочу, чтобы они использовали эту власть надлежащим образом.)

Есть известное родство между Брамсом и Мендельсоном; но я не хочу сказать, что оно проявляется в сравнении фрагментов сочинений Брамса с фрагментами из Мендельсона. Родство, о котором я говорю, можно объяснить, сказав, что Брамс суров там, где Мендельсон суров наполовину. Или так: Брамс зачастую — Мендельсон без изъянов.

Это, пожалуй, конец темы, который я не могу отыскать. Мне пришло это в голову сегодня, когда я размышлял о своей философии, и я сказал себе: «Я уничтожаю, уничтожаю, уничтожаю...»



Порою говорят, что скрытная и хитроумная еврейская натура есть результат долгого преследования евреев. Это безусловно неверно: с другой стороны, очевидно, что, вопреки преследованиям, евреи уцелели только благодаря своей склонности к скрытности. Мы можем сказать, что те-то и те-то виды животных не были истреблены из-за того, что отлично умели прятаться. Конечно, я вовсе не имею в виду, что это умение присуще и евреям, но тем не менее...

В музыке Брукнера не осталось ничего от длинных вытянутых (нордических) лиц Нестроя[16], Грильпарцера, Гайдна и прочих. Зато у нее округлое (альпийское) лицо, даже более типичное, чем у Шуберта.

Власть языка в том, что он все делает похожим, и это в полной мере проявляется в словаре, благодаря чему возможно персонифицировать время; и это не менее замечательно, чем выведение божественности логических констант.

Прекрасное одеяние превращается (то есть распадается) в червей и змей, когда его владелец наряжается перед зеркалом.

Удовольствие, которое я нахожу в собственных мыслях, есть удовольствие моей странной жизни. Это ли joi de vivre?*

Кстати, в старой идеологии — грубо говоря, в идее западной философии — ставятся проблемы двух видов научного познания: существенные, великие, универсальные — и несущественные, случайные. Наша идея, напротив, в том, что в научном познании нет великих, существенных проблем.

Структура и чувство в музыке. Ощущения способствуют нашему восприятию музыкального фрагмента, как и помогают воспринять события повседневной жизни.

Серьезность Лабора — очень запоздавшая.

Талант как источник, из которого постоянно течет свежая вода. Но источник захиреет, если использовать его не по назначению.

«Что знает разумный человек, узнать тяжело». Неужели презрение Гете к лабораторным экспериментам и его стремление выйти в дикую природу и учиться у последней — неужели оно как-то связано с идеей, что гипотеза (составленная неверно) уже представляет собой фальсификацию истины? И с началом книги, которую я ныне обдумываю, об описании природы?

Если люди полагают цветок или животное уродливым, они всегда воспринимают их как искусственное. «Выглядит как...» — говорят они. Это обстоятельство проливает свет на смысл слов «уродливый» и «прекрасный».

---

* Радость жизни (*фр.*).

Лабор, когда он пишет хорошую музыку, абсолютно неромантичен. Это весьма примечательно и важно.

Читая сократические диалоги, испытываешь чувство: какая безумная трата времени! В чем смысл этих доводов, которые ничего не доказывают и не проясняют?

История Петера Шлемиля[17] должна, как мне кажется, разворачиваться так: он продает душу дьяволу, потом раскаивается, а дьявол требует его тень в качестве выкупа. Но у Петера Шлемиля все еще есть выбор — отдать душу или пожертвовать тенью заодно с жизнью среди людей.

В христианстве все так, будто Бог сказал людям: не разыгрывайте трагедий, не устраивайте на земле небеса и ад, ибо небеса и ад — Мои владения.

Шпенглера поняли бы лучше, скажи он: я сравниваю различные периоды культуры с жизнями семей; в семьях присутствует семейное сходство, а также налицо некоторое сходство между членами различных семей; семейное сходство отличается от прочих тем-то и тем-то. Я имею в виду следующее: нам надо задать объект сравнения, объект, на который опирается этот подход, чтобы в дискуссию не проникали постоянно предрассудки. Потому что тогда волей или неволей мы припишем истинность прототипа объекту, к которому мы применяем сравнение, и будем утверждать, что «всегда было...»

Это происходит потому, что мы хотим утвердить свойства прототипа в самом методе. Но поскольку смешиваем прототип и объект, в результате мы догматически приписываем объекту свойства, которыми по необходимости обладает лишь прототип. С другой стороны, мы полагаем, что метод утратит общность, если он будет действенным

лишь в единичном случае. Но прототип должен быть именно тем, что он есть: характеристикой метода в целом и определением его формы. Тем самым он оказывается во главе иерархии и приобретает значимость, определяя форму метода, а не за счет того, что все верно только потому, что он един для всех объектов, к которым применим метод.

Всегда следует спрашивать, слыша догматические преувеличения: что в этом на самом деле истинно? Или так: в каком случае это в самом деле истинно?

Из «Симплициссимуса»[18]: загадки технологии.

(Картина: два профессора перед строящимся мостом.) Голос сверху: «Отпусти! Эй, черт тебя дери, отпусти! А теперь закрути покрепче — да вон ту, другую!» — «Совершенно непонятно, дорогой коллега, как столь сложное сооружение можно возвести при помощи такого языка».

Мы все слышим утверждения, что философия не развивается, что мы по-прежнему заняты теми же проблемами, какие занимали греков. Те, кто говорит так, не понимают, почему дела обстоят подобным образом. А все потому, что наш язык остается тем же самым и продолжает завлекать нас в решение все тех же проблем. Пока имеется глагол «быть», который выглядит схоже с глаголами «есть» и «пить», пока имеются прилагательные «тождественный», «истинный», «ложный», «возможный», пока мы продолжаем говорить о реке времени и бесконечности пространства и т. п., люди так и будут сталкиваться с загадочными трудностями и тем, что на взгляд не подлежит прояснению и истолкованию.

И это, помимо прочего, утоляет страсть к сверхъестественному, ибо пока люди полагают, что способны видеть «предел человеческого понимания», они также убеждены, что могут и заглянуть за него.

Читаю: «Философы нисколько не ближе к пониманию “реальности”, чем Платон...» Уникальная ситуация. Удивительно, что Платон вообще приблизился к пониманию реальности. И что мы не смогли уйти дальше. Неужели Платон был настолько умен?

Клейст[19] где-то написал, что поэт обязан прежде всего стремиться выразить мысли без помощи слов. (Какая странная клятва.)

Часто говорят, что новая религия трактует богов старой как демонов. Но в действительности они сами к тому времени становятся демонами.

Творения великих мастеров — звезды, что восходят и закатываются. Придет снова время для всякого великого творения, которое ныне пребывает в небрежении.

(Музыка Мендельсона, когда она безупречна, состоит из музыкальных арабесок. Вот почему мы смущаемся, ловя каждый всплеск его музыки.)

В западной цивилизации евреев всегда мерили по мерке, которая им не подходила. Греческие мыслители не были ни философами в западном смысле, ни учеными в западном смысле; те, кто участвовал в олимпийских играх, не были спортсменами и не имели привычных Западу профессий — это очевидно многим.

Но то же верно и в отношении евреев.

И пока слова нашего языка представляются нам единственно возможной меркой, мы будем придерживаться этого несправедливого отношения. Поначалу евреев переоценивали, а затем недооценивали. В этом контексте Шпенглер абсолютно прав, относя Вайнингера к западным философам.

Ничто из сделанного нами нельзя защитить раз и навсегда. Только в отношении к чему-то установленному.

То есть нельзя подобрать никакой причины, почему мы должны (или должны были) вести себя именно так, не считая того, что своими действиями мы создали такую-то ситуацию, которую приходится принимать как цель.

Невыразимое (то, что я нахожу загадочным и не могу выразить), быть может, создает фон, на котором все, что я способен выразить, обретает значение.

Работа в философии — во многом схоже с работой в архитектуре — более всего есть работа над собой. Над своими идеями. Над своим восприятием вещей. (И над ожиданиями от этих вещей.)

Философ легко оказывается в положении некомпетентного руководителя, который, вместо того чтобы выполнять свою работу и присматривать за тем, чтобы его сотрудники выполняли свою, забирает их работу и однажды понимает, что перегрузил себя, а сотрудники лишь критикуют его.

Идея уже изношена и более непригодна. (Я слышал както, что Лабор отпустил схожее замечание по поводу музыкальных идей.) Так серебряная фольга, если ее скомкать, уже никогда не разгладится. Почти все мои идеи отчасти скомканы.

Я и вправду думаю пером, поскольку моя голова часто не сознает, что пишет рука.

(Философы нередко напоминают малых детей, которые впервые в жизни корябают на листе бумаги и спрашивают взрослых: «Что это?» Происходит так: взрослые частенько рисуют что-либо для детей и говорят: «это человек», «это дом» и т. д. А потом ребенок рисует сам и спрашивает: «А это вот что?»)

Рэмси[20] был буржуазным мыслителем. Он мыслил ради прояснения дел конкретного сообщества. Он не размышлял о сути государства — во всяком случае не любил этого делать, — лишь о том, как организовать это государство разумно. Идея, что данное государство может не быть идеалом, тревожила его лишь отчасти, а отчасти вызывала скуку. Он хотел как можно быстрее перейти к размышлениям о фундаменте данного государства. В этом он был хорош и это его действительно интересовало, тогда как истинные философские размышления его смущали, пока он не отмахивался от их результата (если таковой имелся) как от тривиального.

Любопытную аналогию можно вывести из того факта, что линза даже самого крупного телескопа не видит больше нашего глаза.

Толстой: значение (важность) чего-либо состоит в том, что все его понимают. Это одновременно истинно и ложно. Понимание объекта затрудняется — если он значим, важен — вовсе не тем, что вас нужно посвятить в тайны, чтобы вы его поняли, но антитезой между пониманием объекта и тем, что желает видеть большинство. Из-за этого наиболее очевидное становится наиболее трудным для понимания. Это задача не для интеллекта, но для воли, подлежащая преодолению.

Тот, кто учит сегодня философии, кормит своего ученика не тем, что тому нравится, но тем, что может изменить его вкусы.

Я всего лишь зеркало, в котором читатель видит отражение собственных мыслей, со всеми искажениями, и помогаю привести эти мысли в порядок.

Язык расставляет всем схожие ловушки: это огромный лабиринт с множеством неверных поворотов. И потому мы наблюдаем, как люди один за другим идут проторенными тропами, и знаем заранее, где они собьются с пути, где пойдут прямо, пропустив поворот, и т. д. И я должен сделать следующее: установить знаки на всех перекрестках с неверными поворотами, чтобы помочь людям миновать опасности.

То, что Эддингтон[21] говорит о «направлении времени» и принципе энтропии, сводится к тому, что время изменит направление на обратное, если люди однажды начнут ходить спиной вперед. Если угодно, можете трактовать это именно так; но тогда вы должны отчетливо сознавать, что именно вы сказали: люди всего лишь изменили направление движения.

Кто-то делит людей на покупателей и продавцов и забывает, что покупатели — тоже продавцы. Если напомнить об этом, изменится ли грамматика?

Реальное достижение Коперника и Дарвина — не в создании истинной теории, а в изобретении нового плодотворного взгляда на мир.

Полагаю, истинной целью поисков Гете была не физиологическая, а психологическая теория цвета.

1932

Философы, которые говорят: «После смерти наступит безвременье» или «В смерти мы вступаем в безвременье», — не замечают, что использовали темпоральные наречия («после», «в») и что темпоральность встроена в их грамматику.

1932-1934

Помню впечатление от хорошей архитектуры: она выражает мысль. И хочется ответить на нее жестом.

Не играй с тем, что скрыто глубоко в другом.

Лицо есть душа тела.

Нельзя оценить собственный нрав извне, как и собственный почерк.

У меня одностороннее отношение к своему почерку, которое не позволяет мне видеть его и сравнивать с почерком других на общих основаниях.

В искусстве сложно сказать что-либо, то есть мы не говорим ничего.

Мои мысли, как и мысли прочих, цепляются за выбеленные бивни предыдущих (увядших) мыслей.

Сила музыкального мышления в Брамсе.

Различные растения и их человеческие черты: роза, плющ, трава, дуб, яблоня, верба. Сравнимо с различными чертами слов.

Если характеризовать суть музыки Мендельсона, можно сказать, что у Мендельсона, пожалуй, нет музыки, сложной для понимания.

Всякий художник испытывает влияние других и показывает это в своих работах; но все равно мы получаем от него выражение его собственной личности. То, что унаследовано от других, не более чем скорлупа. Мы должны

отмечать их присутствие, но они не дадут нам духовного питания.

Мне кажется (порою), будто я философствую беззубым ртом и признаю этот способ правильным, единственно достойным. Нечто похожее я замечаю в Краусе. Но, вопреки моему признанию, это увядание.

1933

Если кто-то скажет, допустим: «Глаза *А* более прекрасны, чем у *Б*», тогда мне захочется уточнить, что это употребление слова «прекрасный» отнюдь не соотносится с тем общим, что мы понимаем под «прекрасным». Скорее, это игра со словом, причем не слишком интересная. Из чего это следует? Есть ли у меня некое сжатое определение слова «прекрасный»? Конечно, нет. Но, быть может, мне и не захочется сравнивать красоту пары глаз с красотой формы носа.

На самом деле мы можем сказать: если в языке имеются два слова, между которыми нет ничего общего, не составит труда выбрать одно из них для конкретного случая, и тогда смысл того, что я хочу сказать, нисколько не потеряется.

Могут спросить: как я объясню, допустим, слова «правило» или «растение»? Что я «имею в виду» под ними?

Предположим, я говорю: «Садовник вырастил прекрасные растения в оранжерее». Я хочу сообщить слушателю нечто, и встает вопрос: нужно ли ему знать то общее, что присуще всем «растениям», для понимания моей фразы? Нет. Я вполне могу объяснить ему смысл несколькими примерами или картинками.

Точно так же говоря: «Я объясню правила этой игры», должен ли я предполагать, что моему собеседнику известно нечто общее для всех «правил»?

Если я скажу, что у *А* прекрасные глаза, меня могут спросить: что такого прекрасного в его глазах; возможно, я отвечу: миндалевидная форма, длинные ресницы и тонкие веки.

И что у этого всего общего с готической церковью, которую я тоже нахожу прекрасной? Могу ли я сказать, что они производят на меня схожее впечатление? Что, если я скажу: общее у них то, что в обоих случаях моя рука тянется их изобразить? Это будет, по крайней мере, узкое определение прекрасного.

Часто возможно сказать: узнайте, каковы причины того, что вы называете нечто благим или прекрасным, и тогда вам станет ясна грамматика слова «прекрасный».

1933–1934

Полагаю, я подытоживаю свое место в философии, когда говорю: на самом деле философский труд надо сочинять так, как сочиняют стихи. Это, по моему мнению, должно показать, сколь глубоко мое мышление принадлежит настоящему, будущему или прошлому. Ибо этими словами я признаюсь себе, что я — некто, не вполне выполняющий то, что способен выполнять.

Если использовать обман в логике, кого вы обманете, как не себя?

Имена композиторов. Иногда это способ проецирования, который мы используем как данность. Когда мы, например, спрашиваем: чье имя выражает его характер? Но порой мы проецируем характер на имя и используем его как данность.

Так возникает впечатление, что великие мастера, которых мы столь хорошо знаем, лишь имена, ярлыки, прикрепленные к их творениям.

1934

Если некто пророчит, что грядущие поколения решат все проблемы, обычно это выдавание желаемого за действительное, способ избавить себя от решения тех самых проблем. Отец хотел бы, чтобы его сын достиг того, чего не добился он сам, чтобы задача, которую не решил он, была решена сыном. Но сын сталкивается с новой задачей. Я хочу сказать: желание, чтобы задача не осталась нерешенной, скрывается за предсказанием, что она будет решена грядущими поколениями.

Всеохватное умение Брамса.

Если я говорю: «Это единственное, что можно увидеть», я показываю перед собой. Если я укажу в сторону или за спину — на то, чего не вижу, — указание утратит смысл для меня. Это значит, что указание перед собой ничему не противоречит.

(Тот, кто торопится, сидя в машине, непроизвольно подгоняет автомобиль, хотя и говорит себе, что вовсе никого не подгоняет.)

Кстати, в своей художественной деятельности я лишь соблюдаю хороший тон.

1937

В дни немого кино играли всю классику, кроме Брамса и Вагнера.

Брамса — потому что он слишком абстрактен. Могу представить восхитительную сцену в фильме под музыку Бетховена или Шуберта, музыку, которая придает этой сцене дополнительный «смысл». Но музыка Брамса этого не сулит. А вот Брукнер отлично подходит для кино.

Странное сходство между философским исследованием (быть может, особенно в математике) и исследованием эстетическим. (Что дурного в этом наряде, как он должен выглядеть и т. д.)

Здание твоей гордости следует разобрать. И это тяжкий труд.

В один день ты познаешь ужасы ада; это бездна времени.

Огромная разница между влиянием текста, который читаешь бегло, и тем, который записываешь, но не можешь с ходу истолковать. Мысли заключены, как в корзине.

Великая «чистота» объектов, которые не влияют на органы чувств, например, числа.

Если предложишь жертву, а затем задумаешься о ней, тебя проклянут вместе с твоей жертвой.

Свет, проливаемый работой, прекрасен, но он обретает истинную красоту, лишь будучи напоен иным светом.

«Да, так и есть, — говоришь ты, — потому что так и должно быть!» (Шопенгауэр: истинный срок жизни человека составляет 100 лет.)

«Конечно, так и должно быть!» Как если бы ты понимал замысел Творца. Ты понимаешь систему.

Ты не спрашиваешь себя: сколько же люди должны жить на самом деле? Теперь это не важно. Ведь ты постиг нечто более существенное.

Единственный способ для нас избежать предубеждения — или пробела в притязаниях — это использовать идеал, как он есть, то бишь как объект сравнения — изме-

рительную линейку для нашего способа «смотреть на мир», а вовсе не как исходный посыл, которому должно соответствовать все прочее[22]. Это догматизм, в который столь легко впадает философия.

Но тогда каково отношение между шпенглеровским и моим подходами?

Неверно у Шпенглера: идеал не утрачивает ни толики своего достоинства, если он постулирован как принцип, определяющий форму чьего-либо подхода. Отличная мерка.

Сплю немного лучше. Яркие сны. Чуть угнетен: погода и здоровье.

Решение проблемы из жизни есть способ жить, который заставляет проблему исчезнуть.

Тот факт, что жизнь проблематична, означает, что твоя жизнь не соответствует форме. И ты должен изменить жизнь, а когда она станет соответствовать форме, проблемы исчезнут.

Но разве нет ощущения, что тот, кто не замечает проблем, слеп и в отношении чего-то важного, пожалуй, самого важного на свете?

Не скажу ли я, что он живет без смысла — слепой, как крот? Обретя зрение, он увидит проблемы.

Или лучше сказать: тот, кто живет верно, не воспринимает проблемы как причину для скорби и потому видит в них не проблемы, а повод для радости, скажем так, яркий ореол вокруг жизни, а не мрачный фон.

Почти так же, как древние физики, как говорят, внезапно обнаружили, что потребно понимание математики, чтобы овладеть физикой, так и мы можем сказать: сегодня молодые люди вдруг поняли, что обычный здравый смысл уже не позволяет справляться со странными требованиями жизни. Все сделалось настолько сложным, что требуется изрядная степень понимания, чтобы совладать с этим.

Уже далеко не достаточно просто хорошо играть в игру; и вопрос встает снова и снова: в какую же игру мы сегодня играем?

В сочинениях Маколея[23] много замечательных мыслей, вот только его суждения о ценности людей утомительны и не нужны. Хотелось бы сказать ему: хватит жестикулировать! Говорите то, что должны сказать.

Идеи порой тоже падают с дерева прежде, чем созреют.

В философствовании для меня важно постоянно менять свою позицию, не стоять слишком долго на одной ноге, чтобы она не затекла.

Как тот, кто, поднимаясь на холм, порой меняет направление, чтобы передохнуть, напрячь другие мышцы.

Подхватил простуду и не могу думать. Мерзкая погода. Христианство — не доктрина, я хочу сказать, не теория о том, что было и что будет с человеческой душой, но описание того, что на самом деле происходит в душе. Ибо «признание греха» есть реальное событие, как и отчаяние, как и искупление через веру. Те, кто рассуждает о нем (как Беньян[24]), просто описывают то, что с ними случилось; и каждый наводит собственный глянец!

Воображая некий музыкальный фрагмент, а я делаю это каждый день, и часто — полагаю, всегда — ритмически постукивая зубами, я замечаю это, но обычно мои зубы движутся незаметно для меня. Более того, словно в моем сознании возникают заметки, порожденные этим движением.

Думаю, это способ восприятия музыки в воображении может быть весьма распространен. Конечно, я могу также представлять музыку, не постукивая зубами, но тогда за-

метки куда более туманны, куда менее ясны и артикулированы.

Если некие графические суждения, к примеру, представлены людям в качестве догм, управляющих мышлением, таким образом, что мнения ими не определяются, но выражение мнений подчинено им полностью, — это будет иметь весьма странные последствия. Люди будут жить в абсолютной, ощутимой тирании, но не смогут сказать, что они несвободны. Думаю, католическая церковь делает нечто подобное. Ибо догма выражается в форме утверждения и неопровержима, и в то же время всякое практическое мнение должно ей соответствовать; в одних случаях это проще, в других довольно сложно. Это не стена, ставящая предел вере, но тормоз, который на практике служит той же цели; почти как если бы кто-то повесил груз на вашу ногу, чтобы ограничить вам свободу движения. Вот так догма становится неопровержимой и неподвластной нападкам.

В мышлении тоже есть время пахать и время собирать урожай.

Мне приносит удовлетворение писать много каждый день. Да, по-детски, но так уж обстоят дела.

Если я думаю только для себя, не желая написать книгу, я прыгаю вокруг темы; это единственный способ мышления, свойственный мне. Выстраивать мысли в упорядоченную последовательность для меня мука. Должен ли я пытаться?

Я прилагаю немыслимые усилия, располагая мысли, которые могут не иметь никакого значения.

Люди иногда говорят мне, что не могут составить суждения о том и об этом потому, что никогда не изучали философию. Это сущая ерунда, поскольку допускается, что

философия является наукой. И люди говорят о ней, как могли бы говорить о медицине. На самом деле следует сказать, что люди, никогда не занимавшиеся философскими исследованиями, как, например, большинство математиков, не имеют надлежащих оптических инструментов для подобных исследований. Почти как тот, кто не привык искать ягоды в лесу, не найдет их, поскольку его глаз не приучен к такому, и не узнает, где именно нужно искать ягоды. Точно так же некто, не тренированный в философии, проходит мимо всего, что прячется в траве, а тренированный останавливается, чувствуя, что здесь скрыта проблема, пусть даже он ее не видит. И не удивительно, если знать, как долго даже опытный исследователь, ведая, что проблема есть, должен ее искать.

Если что-то хорошо спрятано, его сложно найти.

Религиозные сравнения движутся к пропасти. К примеру, аллегории Беньяна. Что, если мы просто прибавим: «Все эти ловушки, болота, неверные повороты расставлены Владыкой Дорог, а чудовища, воры и разбойники созданы им»?

Вне сомнения, смысл сравнения не в этом. Однако ряд очевиден. Для многих, для меня в том числе, он лишает сравнение силы.

Но куда важнее, если оно — как обычно и есть — подавляется. Будет иначе, если об этом говорить открыто: «Я лишь сравниваю, но смотрите — сравнение здесь не годится». Тогда не возникнет ощущения, что вас обманывают, что кто-то пытается сбить вас с толка. Вы можете сказать, например: «Хвала Господу за добро, вам сделанное, но не жалуйтесь на дурное, как бы вы наверняка поступили, если бы человек делал вам попеременно добро и зло». Правила жизни замаскированы в картинах. И эти картины служат лишь описанию того, что нам надлежит делать, но никак не оправданию наших поступков. Чтобы

стать оправданием, они должны творить добро и в других отношениях.

Я могу сказать: «Спасибо пчелам за мед, как если бы они были добрыми людьми и приготовили мед для меня»; это разумно и описывает, как я хотел бы, чтобы вы себя вели. Но не: «Спасибо им, потому что они такие добрые!» — ибо в следующий миг пчелы могут ужалить.

Религия говорит: делай то-то! Думай так-то! Но она не может обосновать этого, а если попытается, то отвратит от себя; на каждую приведенную ею причину найдется соответствующее опровержение.

Куда убедительнее сказать: думай таким-то образом! — как бы странно это ни звучало. Или: не хочешь ли сделать это? — пусть тут есть противоречие.

Предписание: так допустимо лишь в жутких страданиях — и когда это значит нечто совсем отличное. Но по этой причине недопустимо ни для кого цитировать нечто как истину, пока он сам не произнесет это в муках. Это просто не теория. Или можно сказать еще так: если это истина, то не та истина, которой она кажется на первый взгляд. Это еще менее теория, чем вздох или крик.

В наших беседах Рассел частенько восклицал: «Логика — сущий ад!» Это отлично выражает наше с ним отношение к логическим проблемам: их невероятную сложность, их упорство, их скользкую и твердую ткань.

Основой нашего опыта, полагаю, является следующее: всякий новый феномен языка, о котором мы задумываемся в ретроспективе, показывает, что предыдущие объяснения некорректны. Это та же трудность, с которой сталкивался Сократ, пытаясь дать определение понятия. Снова и снова возникает такое употребление слова, которое несопоставимо с понятием, вопреки иному словоупотреблению. Мы говорим: «Но это вовсе не так! Должно быть вот так!» И все, что мы можем сделать, — повторять свои заверения.

Поток, текущий мирно и ясно в Евангелиях, внезапно вспенивается в Посланиях Павла. Так мне во всяком случае кажется. Быть может, моя собственная нечистота замутняет поток; ибо разве не способна эта нечистота замутнить то, что было прозрачным? Для меня все так, будто я вижу человеческую страсть, наподобие гордыни или гнева, которая не уживается со смирением Евангелий. Как если бы человек говорит о себе, причем предается этому с религиозным пылом, который чужд Евангелиям. Хочу спросить — и да не расценят это как богохульство: что бы сказал Павлу Христос?

Справедливым ответом будет: а тебе какое дело? Лучше обрати свой взгляд на собственную жизнь. Ныне она не позволяет тебе найти истину.

В Евангелиях, как мне кажется, все менее претенциозно, все смиреннее и проще. Там вы находите лачуги, а Павел — церковь. Там все люди равны, и сам Господь человечен; у Павла же есть что-то наподобие иерархии, почестей и должностей. Так подсказывает мне мое восприятие.

Будем людьми.

Я просто взял несколько яблок из бумажного пакета, в котором они давно лежат; пришлось разрезать и выкинуть больше половины. Позднее, переписывая предложение, вторая часть которого мне не понравилась, я вдруг увидел в нем наполовину сгнившее яблоко. Со мной так всегда. Все, что меня окружает, становится картиной того, о чем я размышляю. (В этом есть нечто женское?)

Во время этой работы я в том же состоянии, что и большинство людей, тщетно старающихся припомнить чье-то имя; в подобных случаях мы говорим: думай о чем-нибудь еще, и ты вспомнишь. Так и я постоянно вынужден думать о другом, чтобы ко мне пришло то, чего я давно взыскую.

Исток примитивной формы языковой игры — реакция, только из этого могло вырасти более сложное.

Язык — хотелось бы сказать — есть уточнение: «в начале было дело»[25].

Кьеркегор пишет: если христианство такое простое и удобное, почему же Бог разделил небеса и землю и грозил вечными карами — Вопрос: и почему Писание говорит об этом столь запутанно? Если мы хотим предостеречь кого-то от жуткой опасности, разве даем мы ему загадку, чьим решением будет предостережение? — Но кто вправе говорить, что Писание туманно? Или нельзя представить, что в этом случае правильно загадать загадку? Что более прямое предостережение, с другой стороны, оказало бы по необходимости обратное влияние? Господь повелел четверым людям пересказать жизнь Своего Сына, каждому по-своему. Они противоречат друг другу — но можем ли мы сказать: важно, что это повествование обладает лишь известной исторической достоверностью, и потому его нельзя принимать в качестве окончательного доказательства? То есть в букву не следует верить безоговорочно, а духу должно воздать свое. То есть: то, что надлежит увидеть, невозможно воспроизвести даже лучшим, самым аккуратным историкам; поэтому достаточно посредственного пересказа, он даже предпочтительнее. Ибо он тоже способен сказать все, что должно быть сказано. (Грубо — как посредственная декорация может быть лучше утонченной, нарисованные деревья лучше настоящих, которые отвлекают внимание от главного.)

Дух облекает существенное, важное для жизни, в эти слова. Дело в том, что нам надлежит отчетливо видеть лишь то, что ясно показывает представление. (Не уверен, насколько сказанное мной соответствует мыслям Кьеркегора.)

В религии должно быть то, что соответствует всем ступеням религиозности; есть форма выражения, не имеющая

смысла на более низком уровне. Для тех, кто находится ниже, эта доктрина, означающая нечто более высокое, не имеет значения, может быть понята лишь неправильно, и ее слова лишены значимости.

Доктрина Павла о предопределении, например, для моего уровня нерелигиозности: жуткий нонсенс. Значит, она не для меня, ибо я воспринимаю ее образ неверно. Если это священный и прекрасный образ, тогда он таков на ином уровне восприятия, где его принимают совершенно иначе, нежели могу допустить я.

Христианство основано не на исторической истине, оно дает нам (исторический) пересказ и прибавляет: теперь верьте! Но не рассказу, который якобы есть историческое повествование; нет, верьте всему, и к этому должна сводиться ваша жизнь. Вот послание — и воспринимайте его иначе, нежели прочие исторические послания. У него особое место в вашей жизни. — И в этом нет парадокса.

Если я пойму, насколько сам мелок и ничтожен, я стану более смиренным.

Никто не скажет о себе самом, что он мерзок. Ибо если я скажу такое, пусть даже это правда, сам я этой правды не постигну; иначе я должен обезуметь или измениться.

Пил кофе с А. Р.[26]; все не так, как раньше, но ничего дурного.

Звучит странно: исторические повествования Евангелий могут оказаться в историческом смысле очевидно ложными, и все же вера от этого ничего не потеряет: не потому, что она связана с универсальной истиной, а потому, скорее, что историческое доказательство (игра в такие доказательства) несущественна для веры. Это послание (Евангелия) воспринимается человеком с верой (с любовью). Это оправдывает его достоверность, и ничего более.

Отношение верующего к этому посланию не есть ни отношение к исторической истине (вероятности), ни к док-

трине, толкующей об истинах разума. Это есть особое отношение. (Мы по-разному относимся даже к тому, что называем жанрами литературы.)

О себе нельзя написать более правдиво, чем пишешь. Вот разница между писанием о себе и о том, что внешне. О себе ты пишешь с высоты собственного положения. Ты стоишь не на подпорках и не на перекладине лесенки, а упираешься в землю босыми ногами.

Великое благо — сегодня я могу работать. Но как легко я забываю о дарованных мне благах!

Читаю: «И никто не скажет, что Христос — Господь; Он Дух Святой». Это верно: я не назову его Богом, потому что это ничего для меня не значит. Я могу назвать его «образцом», «Богом» и еще как-то, могу понять, когда его так называют, но не могу произнести слово «Бог» осознанно. Потому что не верю, что Он придет судить меня, потому что это мне ничего не говорит. А скажет это мне что-либо лишь тогда, когда я буду жить иной жизнью.

Что вынуждает даже меня верить в воскрешение Христа? Я играю с этой мыслью — если Он не восставал из мертвых, тогда Он распался в могиле, как любой человек. Он мертв и разложился. В этом случае Он учитель, подобный прочим, и уже не может помочь; и мы вновь осиротели и остались одни. И должны искать мудрость и размышлять. Как если бы мы очутились в аду, где можем лишь видеть сны, и отделены от небес каменным сводом. Но если искупление воистину возможно — нужна уверенность, а не мудрость, не сны, не размышления, и эта уверенность будет верой. А вера есть вера в то, что нужно сердцу, душе, а не интеллекту. Ибо моя душа со всеми ее страстями, как она есть, в плоти и крови, ищет искупления, а вовсе не мой абстрактный разум. Возможно, кто-то скажет: лишь любовь ведет к воскрешению. Или: любовь верит в воскре-

шение. Что побеждает сомнения, как если бы было искупление. Кто-то скажет: искупающая любовь верит даже в воскрешение; держится даже за искупление. Держаться за это значит искренне верить. Отсюда вывод: сперва обрети искупление и крепко держись за него (хватайся за искупление) — и ты поймешь, что держишься за веру.

Это возможно, только если ты уже не на земле, но низвергнут с небес.

Тогда все иначе и не удивительно, что можно делать то, чего сейчас ты сделать не в состоянии. (Верно, что подвешенный выглядит как тот, кто стоит, но взаимодействие сил внутри него совсем другое. И потому он может поступать иначе, чем стоящий.)

1938

Идея Фрейда: в безумии замок не разрушается, а лишь меняется; старый ключ его уже не откроет, нужен ключ с другими бороздами.

Симфония Брукнера имеет два начала: начало первой темы и начало второй. Эти две темы находятся друг с другом не в кровном, но в семейном родстве.

Девятая симфония Брукнера есть своего рода спор с Бетховеном, потому что становится переносимой, видом подражания, которым иначе она не была бы. Она относится к Девятой Бетховена во многом так же, как «Фауст» Ленау к «Фаусту» Гете, как католический Фауст к Фаусту Просвещения, и т. д.

Нет ничего труднее, чем не обманывать себя.

Лонгфелло:

В дни искусной старины
Камень к камню — поднимал

Мастер ярусы стены
И богам свой труд вверял*.

(Вполне подходит для моего девиза.)

Феномены, родственные языку, в музыке и архитектуре. Значимая нерегулярность — в готике (мне видятся башни собора Святого Василия[27]). В музыке Баха языка больше, чем у Моцарта или Гайдна. Басовый речитатив в 4-й части Девятой симфонии Бетховена (ср. с замечанием Шопенгауэра об универсальной музыке, сочиненной для конкретного текста[28]).

В философии победитель гонки тот, кто бежит медленнее всех. Или: тот, кто приходит к финишу последним.

1939

Пройти психоанализ почти то же, что питаться плодами древа познания. Знание, которое мы обретаем, ставит перед нами новые этические проблемы, но никак не помогает их разрешению.

1939–1940

Чего недостает музыке Мендельсона? «Мужественности» мелодики?

Ветхий Завет напоминает тело без головы; Новый Завет — голова; послания апостолов — венец на голове.

Если размышлять о еврейской Библии, о Ветхом Завете отдельно, хочется сказать: голова (по-прежнему) отсутствует у тела. Отсутствует решение проблем. Отсутствует исполнение надежд. Но вовсе не обязательно голове иметь венец.

---

* Зодчие. Перевод Ю. Мениса.

Зависть пренебрежима, то есть: характерный цвет зависти не уходит глубоко, под ней страсти имеют другую окраску. (Это, конечно, не делает зависть менее реальной.)

Мерка гения — характер, даже если характер сам по себе не гениален.

Гений — не «талант и характер», но характер, проявляющий себя в форме особого таланта. Когда один выказывает мужество, прыгая в воду, другой мужественно пишет симфонию. (Плохой пример.)

В гении не больше света, чем в любом достойном человеке, но гений фокусирует этот свет в яркий луч посредством особых линз.

Почему душу бередят тщеславные мысли — ведь они всего лишь тщеславны? Так или иначе, они бередят душу.

(Как ветер может гнуть дерево, ведь он всего-навсего ветер? Он гнет дерево, и не забывайте об этом.)

Нельзя говорить правду, если не победил себя. Нельзя говорить правду, потому что ты еще недостаточно умен.

Правду могут говорить лишь те, кто в ней обитает, а не те, кто живет во лжи и не стремится к правде из глубин лжи.

Почивать на лаврах не менее опасно, чем отдыхать, бредя по снегу. Засыпаешь и умираешь во сне.

Чудовищная суетность желаний раскрывается, например, в моем желании заполнить красивую записную книжку записями как можно скорее. От этого я ничего не получу; я желаю этого не потому, что это, так сказать, будет доказательством моей продуктивности; это просто желание избавиться от чего-то привычного как можно быстрее; хотя, конечно, едва избавившись, я заведу новую, и все повторится снова.

Можно назвать Шопенгауэра грубым мыслителем. У него есть утонченность, но на определенном уровне она вдруг исчезает, и он становится невыносимо грубым. Где начинается истинная глубина, он заканчивается.

Можно сказать, что он никогда не оценивает себя.

Я сижу в жизненном седле, как неумелый седок на коне. Лишь добрый нрав лошади не позволил ей до сих пор скинуть меня.

Впечатление (от этой мелодии) совершенно неописуемо. Это значит: описание не годится (для моих целей), эту мелодию нужно слышать.

Если искусство призвано «пробуждать чувства», тогда, быть может, восприятие искусства органами чувств относится к таким чувствам?

Моя оригинальность (если слово правильное) есть, я полагаю, оригинальность почвы, а не семени. (Вероятно, у меня нет собственного семени.) Бросьте семя в мою почву, и оно прорастет иначе, нежели в любой другой почве.

Оригинальность Фрейда схожа с моей. Я всегда верил — не ведая почему, — что исходное зерно психоанализа посадил Брейер, а не Фрейд. Конечно, зернышко Брейера было крошечным.

(Мужество всегда оригинально.)

Люди сегодня считают, что ученые должны наставлять их, а поэты, музыканты и т. п. — развлекать. Что последние тоже порой способны наставлять, в голову не приходит.

Игра на рояле — танец человеческих пальцев.

Шекспир, кто-то может сказать, изображает танец человеческих страстей. По этой причине он вынужден быть

объективным, иначе он не сумел бы отобразить этот танец страстей, лишь рассуждал бы о нем. Но он показывает нам страсти в танце, без натуралистичности. (Я почерпнул эту мысль у Пауля Энгельмана.)

Сравнения Н. З.[29] оставляют столько угодно простора для интерпретаций. Они бездонны.

В них меньше стиля, чем в первых словах ребенка. Даже великое творение искусства должно иметь нечто «стильное», пусть порой это нечто называют «модным».

1940

За всем великим искусством скрывается дикое животное, которое приручили.

Но не в Мендельсоне. Все великое искусство основано на примитивных человеческих потребностях. Это не мелодия (как, возможно, у Вагнера), но они придают мелодии глубину и силу.

В этом отношении Мендельсона можно назвать репродуктивным композитором. В том же смысле: мой дом для Гретль[30] есть продукт безусловно чувствительного слуха, хорошего тона, выражение тонкого понимания (культуры и пр.). Но первобытная жизнь, дикая жизнь, которая рвется на волю, в нем отсутствует. И можно сказать: отсутствует здоровье (Кьеркегор). (Оранжерейное растение.)

Учитель, показывающий достойные, даже поразительные результаты, все равно не может считаться хорошим учителем, ибо вполне возможно, что пока ученики находятся под его влиянием, он поднимает их до уровня, им не свойственного, не развивая их способностей для этого уровня, так что они вновь опускаются на прежний уровень, едва учитель покидает класс. Возможно, это верно для меня; я думал об этом. (Когда Малер дирижировал сам, его

частные спектакли были восхитительны; но его оркестр словно распадался, стоило ему уступить место за пультом.)

Цель музыки — донести «чувства».

Связано с этим: мы вправе сказать «у него то же лицо, что и прежде» — хотя измерения дают в двух случаях разные результаты.

Как используются слова «то же выражение лица»? Откуда нам знать, что кто-то правильно использует эти слова? Откуда мне знать, что я употребляю их верно?

Не чувственное, но победа над чувственным достойна восхищения и делает жизнь достойной прожития. Мужество, не ум, не даже вдохновение есть зерно, из которого вырастает огромное дерево. В связи с мужеством и жизнь со смертью. (Думаю об органной музыке Лабора и Мендельсона.) Но, признавая стремление к мужеству в ком-то, вовсе не обретаешь мужество сам.

Можно сказать: гений есть мужество чьего-либо таланта.

Попробуй быть любимым, но не предметом восхищения.

Порой нужно изъять выражение из языка и отправить в чистку. Лишь затем его можно вернуть в употребление.

Как тяжело разглядеть то, что прямо перед глазами.

Нельзя отказываться жертвовать собой и все же говорить правду.

Писать правильным стилем значит верно поставить вагон на рельсы.

Если этот камень не ложится в настоящее, если застревает, сначала подвинь камни вокруг. Мы лишь пытаемся поставить тебя на рельсы, ведь твой вагон стоит криво; вести же поезд тебе придется самому.

Отскрести раствор куда проще, чем передвинуть камень. Что ж, нужно сделать одно, прежде чем приступать к другому.

Что оскорбительно в каузальном подходе — то, что он заставляет говорить: конечно, все вот так и происходит.

Хотя следует говорить: могло бы случиться так и еще множеством способов.

Если мы применяем этнологический метод, означает ли это, что мы трактуем философию как этнологию? Нет, это значит лишь, что мы обсуждаем свою позицию издалека, дабы увеличить степень объективности.

Один из важнейших для меня способов — вообразить историческое развитие идей отличным от того, что было на самом деле. Если поступать так, проблемы предстают в совершенно новом свете.

Я сопротивляюсь понятию идеальной точности, которая будто бы задана нам априори. В иные времена наши идеалы точности разнились и разнятся. И ни один из них не является главнейшим.

Часто лишь в малой толике правильнее сказать правду, чем солгать; как если выбирать между горьким и сладким кофе, и даже в этом случае я испытываю сильное искушение солгать.

1941

(Мой стиль схож с дурной музыкальной композицией.)

Ни за что не извиняйтесь, ничего не скрывайте, говорите все как есть — но вы должны видеть нечто, проливающее новый свет на факты.

Наши величайшие глупости могут оказаться образцами мудрости.

Невероятно, насколько полезным может быть новый ящик в картотеке.

Ты должен говорить новое и все же ничего, кроме старого.

Ты должен на деле говорить старое — но в то же время новое!

Различные «толкования» должны соответствовать различным применениям.

Поэт должен всегда спрашивать себя: правда ли то, что я пишу? Это вовсе не означает: происходит ли это в реальности?

Верно, что нужно собирать старый материал. Но для нового здания.

Мы становимся старше, а проблемы проскальзывают у нас меж пальцами, как и в юности. Мы не просто не можем их поймать, мы не в состоянии их удержать.

Удивительно отношение ученых: мы по-прежнему не знаем этого, но оно познаваемо, и всего лишь вопрос времени, когда мы все узнаем. Принимается как данность.

Могу представить, что некто считает имена «Фортнум» и «Мейсон»[31] подходящими друг другу.

Не требуйте слишком многого и не бойтесь, что требуемое превратится в ничто.

Люди, постоянно спрашивающие «Почему?», подобны туристам, которые, стоя перед зданием, читают у Бедекера[32] историю строительства и за книгой не видят самого здания.

Контрапункт может представлять собой экстраординарно сложную задачу для композитора, а именно: учитывая мои склонности, каким должно быть мое отношение к контрапункту? Композитор может придерживаться общего отношения, но это отношение будет не его собственным. И не ясно, каково же его собственное отношение.

(Думаю в этой связи о Шуберте: о его неуемном желании брать уроки контрапункта в конце жизни. Думаю, его цель состояла не просто в обучении, но в стремлении определить собственное отношение к контрапункту.)

Мотивы Вагнера можно назвать музыкальными прозаическими предложениями. И при наличии такого явления, как «ритмическая проза», эти мотивы можно перевести в мелодическую форму, но без того, чтобы они породили мелодию.

Вагнерианская драма тоже не является драмой, но связыванием ситуаций воедино, как на нитку. И эта нить искусно сплетена, но, как с мотивами и ситуациями, не рождена вдохновением.

Не вдохновляйся примером других, только примером природы!

Язык философии деформирован словно слишком узкими башмаками.

Персонажи драмы пробуждают в нас сочувствие, они словно знакомые нам люди, часто люди, которых мы любим или ненавидим. Персонажи второй части «Фауста» не вызывают симпатии вовсе! Мы не чувствуем, будто знаем их. Они кажутся мыслями, а не людьми.

1942

Математик (Паскаль), который восхищается красотой теоремы из теории чисел, как если бы он восхищался природными красотами. Чудесно, говорит он, какие замечательные свойства у чисел. Как если бы он восторгался красотой граней кристалла.

Можно сказать: сколь удивительными законами Творец наделил числа!

Нельзя возделывать облака. Вот почему будущее, о котором лишь грезят, никогда не наступит.

До появления аэропланов люди мечтали об аэропланах и мире, в котором те будут летать. Но поскольку реальность не имеет общего с мечтой, у нас нет причин верить, что реальность формируется нашими мечтами. Ведь мечты — мишура, как бумажные шляпы и костюмы.

Популярные сочинения ученых суть не выражение упорной работы, но почивание на лаврах.

Если вас уже кто-то любит, никакая жертва не будет слишком высокой ценой, но любая жертва слишком велика, чтобы купить любовь.

Если принять, что есть такие явления, как глубокий и неглубокий сон, то есть и мысли, которые кроются в глубине, и те, что блуждают на поверхности.

Нельзя извлечь семя из почвы. Ему нужны тепло, влага и свет, чтобы оно проросло.

(Даже касаться его нужно с величайшей осторожностью.)

То, что мило, не может быть прекрасным.

Некто заперт в комнате, если дверь не заперта и открывается внутрь, но ему не приходит в голову потянуть, а не толкать.

Поместите кого-либо в неподходящую среду, и ничто не будет в порядке. Организм покажется нездоровым во всех отношениях.

Верните его в привычное окружение, и все мгновенно расцветет. Но если он не окажется в привычной среде, что тогда? В лучшем случае он будет походить на инвалида.

Если белое становится черным, одни говорят: «По сути это одно и то же». А другие, если цвет становится лишь чуть темнее, говорят: «Цвет полностью изменился».

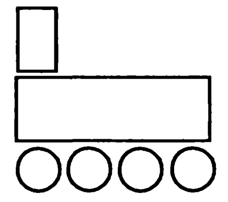
Архитектура есть жест. Но не всякое осмысленное движение тела является жестом. Лишь в той малой степени, в какой любое функциональное здание есть архитектура.

В настоящее время мы сражаемся с неким направлением. Но это направление отомрет, превзойденное иными. И люди перестанут понимать наши доводы против него, не поймут, зачем требовалось все это произносить.

Искать дефекты в ущербном доводе и охотиться за призраками.

1943

Примем, что 2000 лет назад некто изобрел форму и заявил, что однажды она окажется формой средства передвижения.



Или так: некто придумал механизм парового двигателя, не имея ни малейшего понятия о том, что его можно использовать как двигатель.

Что принимаешь как дар, есть трудная задача.

Гений заставляет нас забывать о таланте мастера.

Гений заставляет забыть талант.

Где гений тусклее, там сквозь него проступает мастерство. (Из увертюры к «Тангейзеру»[33].)

Гений не позволяет нам разглядеть талант мастера.

Только там, где гений тусклее, мы видим талант.

1944

Почему я не должен использовать слова вопреки их типичному употреблению? Не это ли делает, например, Фрейд, когда именует даже тревожный сон сном об исполнении желаний? В чем разница? В науке новое употребление оправдано теорией. А если теория оказывается ложной, тогда приходится отказываться и от нового употребления. Но в философии расширенное использование слов не оправдывается истинностью или ложностью мнений о процессах в природе. Никакой факт не оправдывает этого и не может преодолеть.

Мы говорим: «Вы понимаете это выражение, не правда ли? Что ж, то, как вы его понимаете, есть смысл, в котором я его использую». (Не «значение».)

Как если бы значение было ореолом, окружающим слово в любом употреблении.

Мысли в покое. Это цель, к которой стремится каждый философствующий.

Философ — тот, кому надлежит исцелить в себе многие болезни понимания, прежде чем он подступит к понятиям здравого смысла.

Если в жизни мы окружены смертью, то и в здоровье нашего понимания мы окружены безумием[34].

Хотеть мыслить — одно, иметь талант к мышлению — совсем другое.

Если и есть что-либо в фрейдовской теории толкования сновидений, оно показывает, насколько сложной обработке человеческий разум подвергает факты.

Столь сложен, столь нерегулярен способ представления, что его едва ли можно и далее называть представлением.

Все тяжелее соответствовать моему изложению: оно говорит нечто новое, и все же за него цепляются осколки скорлупы прежнего.

Неужели некое неудовлетворенное желание превращает человека в безумца? (Думаю о Шумане и о себе тоже.)

Революционером будет тот, кто способен революционизировать себя.

Люди религиозны в той степени, в какой полагают себя не столько несовершенными, сколько больными.

Всякий хотя бы наполовину достойный человек считает себя полностью несовершенным, а человек религиозный видит себя презренным.

Что ущербно, должно оставаться ущербным.

Чудо само по себе есть жест Бога. Подобно человеку, который сидит спокойно, а затем делает внушительный жест, Бог позволяет миру существовать в покое, а затем сопровождает слова святых символическим явлением, жестом природы. В мгновение, когда святой говорит, деревья вокруг склоняются, будто в поклоне. Верю ли я, что так происходит? Нет.

Единственный способ для меня поверить в чудо — это увидеть его собственными глазами. Так что я мог бы сказать, например: «Невозможно увидеть эти деревья и не ощутить, что они откликаются на слова». Или же: «Невозможно увидеть морду вон той собаки и не увидеть, что она вся во внимании и следит за хозяином». И могу представить, что простой пересказ речений и жизни святых заставит кого-то поверить, что деревья склонились перед ними. Но не меня.

Приходя домой, я ожидаю сюрприза, но его нет, и потому я, конечно, удивлен.

Верьте! Это не причинит вреда.

Верить значит подчиняться кому-то. Подчинившись однажды, вы уже не можете, не восстав, сначала оспорить веру, а затем вновь счесть ее убедительной.

Крик о помощи громче всего у одного человека.

И никакая беда не больше той, какую испытывает отдельный человек.

Итак, один человек может оказаться в беспредельной беде и ему потребуется беспредельная помощь.

Христианство — религия для тех, кому нужна беспредельная помощь, то есть для тех, кто пребывает в беспредельной беде.

Вся Земля не познает беды большей, чем отдельная личность.

Христианская вера, я полагаю, есть спасение от этой беды.

Тот, кому она дана в такой беде, раскрывает, а не сжимает сердце, и принимает исцеление.

Тот, кто таким образом раскрывает сердце Богу в скорбных признаниях, раскрывает его и для других. Он теряет свое особое положение отдельной личности и становится подобен ребенку. Это значит, что он лишается должности, достоинства и обособленности. Раскрыть себя другим можно лишь в особой любви. Последняя признает, что все мы — испорченные дети.

Можно также сказать: ненависть среди людей проистекает из нашей обособленности друг от друга. Мы не хотим, чтобы кто-то заглядывал внутрь нас, ибо картина там неприглядна.

Конечно, продолжайте стыдиться того, что внутри вас, но не себя перед другими.

Нет беды большей, чем беда одного человека. Ибо если некто чувствует себя потерянным, это и есть величайшая беда.

1945

Слова суть дела[35].

Лишь тот, кто несчастлив, вправе жалеть других.

Неразумно гневаться даже на Гитлера, не говоря уже о Боге.

Когда люди умирают, мы оцениваем их жизнь в благоприятном свете. Сквозь дымку их жизнь кажется благопо-

лучной. Для самого же человека жизнь была вовсе не благополучной, но неполной и богатой треволнениями. Для него нет утешения, его жизнь обнажена и презренна.

Как если бы я сбился с пути и спросил у кого-то дорогу домой. Он ответит, что покажет мне дорогу, и пойдет со мной по утоптанной тропе. Внезапно тропа заведет в тупик. И мой провожатый скажет: «А теперь ищите сами, как вам дойти».

1946

Чем меньше знаешь и понимаешь себя, тем менее ты велик, сколь ни богат твой талант. По этой причине Фрейд, Шпенглер, Краус, Эйнштейн вовсе не велики.

Шуберт нерелигиозен и меланхоличен.

Все ли люди великие? Нет. Тогда откуда надежда однажды стать великим? Почему тебе должно быть даровано то, чего лишены твои собратья? С какой стати? Если не твое желание богатства делает тебя богатым, тогда некое наблюдение, некий опыт. И каким опытом ты обладаешь (не считая тщеславия)? У тебя просто есть талант. А мое представление о себе как о неординарной личности сложилось куда раньше, чем я ощутил в себе некий талант.

О мелодиях Шуберта говорят, что они полны кульминаций, чего нельзя сказать о мелодиях Моцарта. Шуберт — это барокко. Можно выделить конкретные места в мелодиях Шуберта и сказать: смотрите, вот оно, вот здесь идея пришла в голову.

Мелодии других композиторов подвластны принципу: всякий побег дерева есть дерево в ином смысле слова. То есть: не позволяйте себе обмануться утверждением, что

все они — мелодии. Они суть шаги по тропе, ведущей от того, что нельзя назвать мелодией, к тому, что также нельзя ею назвать.

Если просто взглянуть на ряды нот и изменения тона, все эти структуры несомненно покажутся согласованными. Но если приглядеться к полю, в котором они пребывают (то есть к их значимости), потянет сказать: здесь мелодия сильно отличается от другой (у нее иное происхождение, она играет иную роль, inter alia*).

Идея прокладывает себе дорогу к свету.

Замечание Юкунда в «Последнем смехе»[36], что религия состоит из знания: если для него все идет хорошо, судьба может перемениться к худшему, — это выражение той же доктрины, что и слова: «Господь дал, Господь взял».

Тяжело понять себя, поскольку то, что делаешь из щедрости и доброты, можно делать и из трусости или безразличия. Конечно, человек может поступать так-то и так-то из истинной любви, но также из обмана или от холодности сердца. И только если я погружусь в религию, эти сомнения будут утишены. Ведь лишь религия способна уничтожить тщеславие и одолеть любую прихоть.

Хочу сказать следующее: того, кто не может воспринять слово «pas» в выражении «je ne sais pas»** как «ударение», нельзя научить языку указанием «произноси со значением».

Если читать вслух и читать хорошо, вы сопровождаете слова яркими образами. Во всяком случае так часто бывает. Порой («От Афин до Коринфа...»[37]) дело в пунктуации, то есть в точности интонации и в продолжительности пауз.

---

* Среди других вещей или дел (*лат.*).

** «Не знаю» (*фр.*).

Удивительно, как тяжело порой поверить в то, чего не видел сам. Если слышу хвалу Шекспиру из уст достойных людей нескольких столетий, я не могу избавиться от подозрения, что эти похвалы суть лишь признак хорошего тона, хотя и говорю себе, что это не так. Мне нужен авторитет Мильтона, чтобы поверить. В его случае я принимаю незаинтересованность как данность. Конечно, я вовсе не собираюсь отрицать, что громадная доля похвал в адрес Шекспира сыплется без понимания и по сугубо личным причинам из уст тысяч профессоров литературы.

Понять задачу во всей ее глубине поистине тяжело.

Ибо если вы истолкуете ее неглубоко, задача останется нерешенной. Нужно добраться до корней; это значит, что нужно задуматься иначе. Перемена так же обманчива, как переход от алхимии к химии. Новый способ мышления основать весьма непросто.

Но когда он основан, старые задачи исчезают, становится тяжело их отыскать. Ибо они включены в наш способ выражения; и если мы используем новые формы, старые задачи отбрасываются вместе с прежними формами.

Истерический страх публики перед атомной бомбой, во всяком случае выражаемый, может почти служить знаком, что наконец-то сделано целительное открытие. По крайней мере страх производит впечатление по-настоящему целебного горького лекарства. Не могу избавиться от мысли: если бы в этом не было пользы, филистимляне не кричали бы. Быть может, это ребячество. На самом деле я хочу сказать, что бомба порождает предвкушение гибели, уничтожения жуткого зла, омерзительной мыльной науки, а эта мысль весьма приятна; но кто скажет, что последует за разрушением? Люди, несомненные ошметки интеллигенции, произносят речи против бомбы, но это не доказывает, будто нужно восхвалять то, что они ненавидят.

В прежние времена люди уходили в монастыри. Были они простоваты или скудны умом? Что ж, если люди уходили туда, чтобы жить, ответ на такой вопрос не может быть простым!

Человек — лучшее отражение человеческой души[38].

Сравнения Шекспира, в обыденном смысле, дурные. Так что если они все же хороши — а я не знаю, хороши они или нет, — они должны быть законом сами по себе. Быть может, их звонкость делает их убедительными и придает им истинность.

Вполне может быть, что в случае Ш. важны его легкость, противоречивость, и если вы способны по-настоящему восторгаться им, тогда вам надо принимать его, каков он есть, подобно природе, пейзажу и т. д. Если я прав, значит, именно стиль его трудов, полностью, является существенным и обеспечивает оправдание.

То, чего я в нем не понимаю, может быть объяснено фактом, что мне тяжело его читать. В отличие от разглядывания прелестного пейзажа.

Человек достаточно хорошо понимает, чем владеет, но не чем является. Чем он является можно сравнить с его высотой над уровнем моря, которую, как правило, с первого взгляда не оценить. Величие или тривиальность работы зависят от того, где стоит творец.

Но можно сказать и так: тот, кто неверно судит о себе, не бывает великим; он словно бросает пыль себе в глаза.

Как мало нужно мыслей, чтобы заполнить целую жизнь!

Кто-то может путешествовать по крошечной стране всю жизнь и думать, что за ее пределами ничего нет.

Все видится в диковинной перспективе (или проекции): страна, которую вы беспрерывно изучаете, представляет-

ся вам бескрайней, а то, что вокруг нее, мнится узкими приграничными полосами.

Чтобы спуститься в глубины, не обязательно идти далеко: можно предаться этому и в садике за домом.

Замечательно, что нам суждено размышлять о цивилизации — домах, улицах, машинах и т. д. — как о том, что отделяет человека от истоков, вечного, горнего. Наше цивилизованное окружение, даже деревья и растения, кажется нам дешевым, завернутым в целлофан, изолированным от великого, Божественного. Это поразительная картина, которая нам навязывается.

Мое «достижение» сродни успеху математика, изобретшего новое счисление.

Если бы люди порой не совершали глупости, ничего разумного никогда бы не возникло.

Чисто духовное может быть обманом. Сравните, как изображают ангелов и бесов. Так называемое «чудо» связано с этим. Все равно что священный жест.

Как мы употребляем слово «Бог», показывает, не кого мы имеем в виду, но что мы имеем в виду.

В бое быков бык — герой трагедии. Сперва он теряет разум от боли, а потом умирает медленной и жуткой смертью.

Герой смотрит в лицо смерти, истинной смерти, не просто ее образу. Вести себя достойно в кризис не значит хорошо играть героя, как в театре, это значит, скорее, иметь мужество заглянуть в глаза смерти.

Актер может сыграть множество ролей, но умрет в конце концов он сам.

Что означает следить за музыкальной фразой с пониманием? Наблюдать лица и ловить соответствующие выражения? Впитывать эти выражения?

Подумайте о поведении того, кто, рисуя лицо, ловит его выражение. Подумайте о лице рисовальщика — на нем отражаются все движения его карандаша, и ничто в набросках не произвольно; это — тонкий инструмент?

Это и вправду опыт? То есть: можем ли мы назвать это выражение лица опытом?

Снова: что означает следить за музыкальной фразой с пониманием — или играть, исполнять с пониманием? Не углубляйтесь в себя. Лучше спросите себя, что заставляет вас говорить это о другом человеке. Что побуждает сказать, что он получает некий опыт? И вправду ли так говорят? Неужели нельзя сказать точнее, что такой человек получает целую совокупность опытов?

Я бы сказал, пожалуй: «Он интенсивно переживает тему», но спросите себя, в чем это выражается.

И можно подумать, что интенсивное переживание состоит в ощущениях движений и т. д., которые сопровождают исполнение и восприятие музыки. И это кажется (вновь) утешительным объяснением. Но есть ли основания полагать, что оно истинно? Сохраняются ли воспоминания об этом опыте? Или же наша теория снова — лишь картина? Нет, все не так: теория не более чем попытка связать выразительные движения с неким опытом.

Если спросите: как я пережил тему, я, возможно, отвечу: «Как вопрос» или нечто вроде того, или же просвищу ее с выражением и т. д.

«Он интенсивно переживает тему. Что-то происходит с ним, когда он ее слышит». Что именно? Разве тема указыва-

ет на пустоту за ее пределами? О да! Но это значит: впечатление, которое она производит на меня, связано с окружением — с существованием немецкого языка и его интонации, то есть со всем полем наших языковых игр.

Если я скажу, например, что здесь будто бы делается вывод, или нечто подтверждается, или же дается ответ на сказанное ранее, — то, как я понимаю тему, ясно покажет мое знакомство с заключениями, утверждениями, ответами и т. п.

Тема, подобно лицу, имеет выражение.

«Повторение необходимо». В каком отношении? Что ж, пропойте мотив, и вы увидите, что только повтор наделяет тему силой. Разве не кажется нам, что образец для этой темы должен существовать в реальности, что тема к нему лишь приближается, соответствует, только когда она частично повторяется? Или мне остается бессмысленно твердить: она просто звучит прекраснее с повторами? (Сколь бессмысленную роль играет слово «прекрасное» в эстетике.) Но нет никакой парадигмы кроме той, что присутствует в самой теме. При этом есть парадигма вне темы: именно ритм языка, мышления и чувствования. Более того, тема есть новая часть нашего языка, она встраивается в него, мы изучаем новый жест.

Тема взаимодействует с языком.

Одно — сеять мысли, другое — их пожинать.

Последние два такта в «Смерти и деве»[39]: можно подумать, что они произвольны, обыденны, но потом понимаешь их глубинную суть. А в конце концов становится ясно, что это обыденность, наполненная значением.

«Прощай!»

За этим словом скрывается целый мир боли. Как в нем жить? Мир связан этим словом. Оно словно желудь, из которого вырастает дуб.

Но где закон, по которому из желудя должно вырасти дерево? Что ж, это образ в нашем сознании, результат опыта.

Эсперанто. Наше отвращение, когда мы произносим изобретенное слово с придуманными производными. Слово холодно, не имеет ассоциаций и все же присутствует в «языке». Система чисто письменных знаков не вызывает такого отвращения.

Идеи можно оценить. Некоторые стоят дороже, другие дешевле. (Общие идеи стоят дешевле всего.) А как платить за идеи? Думаю, так: мужественно.

Если жизнь становится тяжелой, мы задумываемся, как ее улучшить. Но самые лучшие и эффективные улучшения таятся в нашем собственном отношении, это едва ли приходит нам в головы, и мы постигаем это с немалым трудом.

Возможно писать стилем, неоригинальным по форме — как мой, — но хорошо подбирая слова; с другой стороны, оригинальный стиль нередко прорастает изнутри. (Как и смешанный стиль, отягощенный всяким старьем.)

Среди прочего христианство говорит: я верю, что все доктрины бессмысленны. Ты должен изменить свою жизнь. (Или направление жизни.)

Мудрость холодна: для исправления жизни она полезна не более, чем молот для ковки холодного железа.

Доктрина не поглощает тебя, ты следуешь за ней, как если бы это был врачебный рецепт. Но вот твой пузырек превратили в нечто иное. (Так я это понимаю.) Если ты переменился, то должен оставаться таковым и впредь.

Мудрость бесстрастна. А вот Кьеркегор называет веру страстью.

Религия как дно спокойного моря в самом глубоком месте, и дно остается спокойным, какие бы высокие волны ни вздымались на поверхности.

«Я никогда не верил в Бога» — это я понимаю. Но не: «Я никогда раньше по-настоящему в Него не верил».

Часто боюсь безумия. Есть ли у меня основания допускать, что этот страх вырастает, так сказать, из оптической иллюзии, из чего-то, что видится как пропасть, хотя таковым не является? Единственный доступный мне опыт говорит, что это не иллюзия, — это случай Ленау. В его «Фаусте» есть мысли того рода, с которым знаком и я. Ленау вкладывает их в уста Фауста, но они, несомненно, его собственные. Важно то, что Фауст говорит о своей обособленности, отъединенности.

Талант Ленау тоже кажется мне схожим с моим: много пены — и крайне мало ценных мыслей. История его Фауста плоха, но наблюдения нередко истинны и величественны.

«Фауст» Ленау замечателен в том, что человек вступает в отношения только с дьяволом. Бог не проявляет Себя.

По-моему, Бэкон не был строгим мыслителем. У него имелись крупные, широкие прозрения. Но тот, у кого нет ничего, кроме таких прозрений, обречен на щедрость посулов, но не на их выполнение. Можно вообразить летательную машину, не вдаваясь в подробности ее устройства. Можно представить ее очень похожей на аэроплан и описать принцип ее действия художественным образом. Однако ясно, что такое изобретение будет бессмысленным. Быть может, оно подстегнет других изобретателей. И пока эти другие готовят почву, задолго до появления настоящего аэроплана, первый мыслитель занимает себя мечтами о внешнем виде этого аэроплана и его свойствах. Это не говорит ничего о ценности изобретения. Мечта пуста — как, возможно, и действия других.

Безумие не следует воспринимать как болезнь. Быть может, как внезапное — более или менее внезапное — изменение характера?

Всякий человек (большинство людей) недоверчив, особенно, пожалуй, по отношению к родственникам, а не к чужим людям. Есть ли причина у такого недоверия? Да и нет. Можно перечислить причины, но они не будут убедительными. Почему некто не может преисполниться подозрений к людям? Или отдалиться от них? Или запретить себе любить? Разве люди не таковы даже в обычных обстоятельствах? Где провести разделительную линию между волей и способностью?

Она в том, что я могу или не могу раскрыть сердце другому? Если многое может утратить привлекательность, то почему не все? Если некто замкнут в повседневной жизни, почему бы ему — быть может, внезапно — не стать еще более замкнутым? И куда более нелюдимым?

Урок стиха переоценивают, если интеллектуальный смысл последнего очевиден, а не замаскирован сердцем.

Ключ может вечно лежать там, куда положил его мастер, и им никогда не воспользуются, чтобы открыть замок.

«Самое время сравнить это явление с другим», — могут сказать так. Я думаю, например, о душевном расстройстве.

Фрейдовские фантастические псевдообъяснения (пусть они блестящи) оказывают дурную услугу.

(Ныне они наготове у всякого глупца для «объяснения» симптомов болезни.)

Ирония в музыке, например, в «Тангейзере» Вагнера. Несравнимо глубже в первой части Девятой симфонии, в фугато[40]. Нечто здесь соответствует выражению глубокой иронии в музыке.

Я мог бы сказать также: искажения в музыке. В том смысле, в каком мы рассуждаем о лице, искаженном скорбью.

Когда Грильпарцер говорит, что Моцарт выражал в музыке лишь «прекрасное», это значит, думаю, что он не выражал искаженного, жуткого, что в его музыке ничто этому не соответствует. Я не говорю, что это безусловно верно, но приняв, что это так, мы увидим предубеждение со стороны Грильпарцера, считавшего, что иначе и быть не может. Тот факт, что музыка со времен Моцарта (особенно благодаря Бетховену) расширила границы своего языка, не хвалит и не порицает, а лишь показывает, как обстоят дела. Отношение Грильпарцера включает в себя известную недооценку. Ему нужен другой Моцарт? Он воображает, что ныне такой человек мог бы творить?

Способен ли он представить Моцарта, не услышав музыки последнего?

Понятие «прекрасного» тоже весьма неоднозначно.

Понятия могут вести к непониманию и усугублять его, затемнять и уточнять смысл.

Фундаментальная беззащитность жизни. Беда повсюду, куда ни посмотри.

Ухмыляющиеся физиономии глупцов могут, конечно, заставить нас поверить, что они вовсе не страдают; но это не так, просто они страдают иначе, чем умные. У них нет, можно сказать, головной боли, зато все остальные беды в наличии. В конце концов и малого несчастья достаточно, чтобы вызвать соответствующее выражение лица. Благородный человек будет выглядеть в страдании иначе, чем я.

Не могу вставать на колени для молитвы, как если бы мои колени не подгибались. Боюсь раствориться (потерять себя), если стану мягче.

Показываю ученикам фрагменты бескрайнего пейзажа, в котором они не могут отыскать ориентиры.

1947

Истинно апокалиптический взгляд на мир состоит в том, что вещи не повторяют себя. Поэтому не абсурдно верить, что эпоха науки и технологий есть начало конца человечества. Что идея великого прогресса обманчива, заодно с идеей о том, что истина постижима; что в научном познании нет ничего хорошего и желательного, и что человечество, взыскуя познания, попадает в ловушку. Тем не менее ясно, что дела обстоят вовсе не так.

Мечты человека практически никогда не реализуются.

Сократ, всегда вынуждавший софистов умолкнуть, вправе ли был это делать? Верно, софист не знал того, что считал своим знанием, но это не триумф Сократа. Это ни: «Вот видишь, ты этого не знаешь!», ни: «Никто из нас ничего не знает».

Поскольку я не хочу думать, просто чтобы убедить себя или кого-то еще в неясности, постольку я не пытаюсь понять нечто лишь ради того, чтобы убедиться, что я этого по-прежнему не понимаю.

Мудрость есть нечто холодное и потому глупое. (Вера, с другой стороны, есть страсть.) Можно также сказать: мудрость попросту прячет жизнь. (Мудрость подобна холодному серому пеплу, покрывающему тлеющие уголья.)

Ради всего святого, не бойтесь говорить ерунду. Лишь обращайте на нее внимание.

Чудеса природы. Можно сказать: искусство для нас растворяется в чудесах природы. Оно зиждется на понятии чудес природы. (Цветок раскрывает лепестки. Что в том замечательного? Мы говорим: «Смотрите, какая красота!»)

Лишь по чистой случайности чьи-либо мечты о будущем философии, искусства, науки станут реальностью. Он грезит о продолжении собственного мира, то есть, быть может, о своем желании, но не о реальности.

Может случиться так, что фотография человека, например, изменится со временем, как если бы он сам на ней старел. Но эти изменения будут происходить по присущим только им законам; почему они должны отражаться на реальном человеке?

Математик, конечно, тоже может восторгаться чудесами природы (кристаллом); но способен ли он на это, когда встанет вопрос, что именно он видит? Это вполне возможно, пока объект, который вызывает у него восхищение, скрыт философским туманом.

Могу вообразить, как кто-то восторгается деревьями и тенями или отражениями деревьев, ошибочно принимаемыми за деревья. Но если он скажет себе, что это вовсе не деревья, и если задастся вопросом, что они такое и в каком отношении они находятся к деревьям, тогда его восхищение пропадет и потребует лечения.

Порой предложение можно понять, только если прочесть его в правильном темпе. Все мои предложения нужно читать медленно.

«Необходимость», с которой вторая идея следует из первой. (Увертюра к «Фигаро».) Ничто не может быть глупее, чем сказать, что приятнее слушать второе после первого. Но парадигма, по которой все правильно, неясна. «Это естественно». Вы машете рукой, словно желая ска-

зать: «Конечно». Вы можете также сравнить с этим переходы (введение нового персонажа) в литературном тексте, например в стихе. Вот так этот фрагмент занимает место в мире наших мыслей и чувств.

Мое сердце все время стремится склеиться, и чтобы раскрыть его, я должен разрывать его складки.

Глупый и наивный американский фильм может по всей своей глупости и благодаря ей быть поучительным. Знаменитый и не наивный английский фильм может не научить ничему. Я часто усваиваю уроки из глупых американских фильмов.

Стоит ли то, что я делаю, усилий? Пожалуй, только если его освещает свет с небес. И если это происходит, почему я должен тревожиться за утрату плодов моего труда? Если написанное мною имеет ценность, как кто-то может украсть эту ценность у меня? Если свет сверху не льется, тогда я попросту лишь мастеровит.

Я вполне понимаю, как может быть ненавистно, когда оспаривается приоритет в изобретении или открытии, как сильно желание защищать этот приоритет зубами и когтями. И все же это лишь химера. Конечно, мне кажутся слишком дешевыми и легковесными насмешки Клаудиуса[41] по поводу спора о первенстве Ньютона или Лейбница; думаю все же, что этот спор обязан своим возникновением дурной страсти и питается злобой людской. Что потерял бы Ньютон, признай он оригинальность Лейбница? Абсолютно ничего! Зато приобрел бы многое. Тем не менее сколь тяжело сделать подобное признание тому, кто пытается это сделать, словно признаваясь в собственной неспособности. Лишь люди, уважающие и любящие других, легко могут вести себя так. Это зависть, разумеется. И вся-

кий, кто ее ощущает, должен повторять себе: «Это ошибка! Это ошибка».

В хвосте каждой идеи, рожденной в муках, следуют более дешевые мысли, а среди них найдутся и немногие полезные.

Порой видишь идеи, как астроном видит звезды в отдалении. (Во всяком случае так кажется.)

Если я написал удачное предложение и в нем случайно нашлись рифмующиеся строки, это будет промах.

Многое можно уяснить из ложного теоретизирования Толстого о том, что произведение искусства «передает» чувство. Вы можете и вправду назвать это произведение если не единственным выражением чувства, то просто выражением чувства или прочувствованным выражением. И можно сказать, что люди, его понимающие, «резонируют» ему, откликаются на него. Нанося визит, я не просто хочу вызвать у человека такие-то чувства, но прежде всего навестить его — и, разумеется, быть хорошо принятым.

Отсюда вытекает абсурдное: скажем, если художник желает, чтобы чувства, которые он испытывает при работе, передались читателям или зрителям. Предположим, я могу думать, что понимаю стих — в том смысле, в котором хочется автору, но его чувства при написании этого стиха меня не касаются.

Я не могу писать стихи, а прозой владею лишь до определенного уровня. У моего стиля есть конкретный предел, и я способен преодолеть его не больше, чем написать стихотворение. Таков мой инструментарий; он единственный мне доступен. Как если бы кто-то сказал: в этой игре я могу достичь лишь такой-то степени мастерства.

Возможно, что любой человек, выполняющий важную работу, видит мысленным взором сны о «продолжении» этой работы; но будет замечательно, если все станет происходить так, как ему виделось. Сегодня не верить в мечты очень легко.

Ницше где-то говорит, что даже лучшие поэты и мыслители писали дурные стихи, но сохранилось в истории лишь лучшее[42]. Все не так просто. Верно, что садовнику в розарии нужны навоз, сор и солома, однако эти предметы различаются не только ценностью, но и функцией.

То, что выглядит плохим предложением, может быть зародышем хорошего.

Свойство «вкуса» не способно создать новый организм, лишь исправлять уже имеющийся. Вкус ослабляет и утягивает стяжки, но не создает оригинальный механизм.

Вкус исправляет, а не дает рождение.

Вкус делает нечто приемлемым.

(Посему, думаю, великому творцу вкус не нужен: новорожденный входит в мир сформированным.)

Лакировка порой — дело вкуса, а порой — нет.

У меня есть вкус.

Самый уточненный вкус не имеет ничего общего с творческими возможностями.

Вкус есть уточнение впечатления, но впечатление не действует, оно принимает.

Не могу судить, есть ли у меня только вкус или еще и оригинальность. Первый я различаю отчетливо, но последней не вижу вовсе или вижу весьма туманно. И, возможно, так и должно быть; видишь только то, что у тебя есть, а не то, кто ты есть. Тот, кто не лжет, уже достаточно оригинален. Ведь в конце концов оригинальность, к которой стоит стремиться, не может быть фокусом или идиосинкразией, как бы ее ни именовали.

На деле зерно оригинальности — не желать быть тем, кем ты не являешься. И об этом прежде рассуждали многие другие.

Вкус может восхищать, но не подчинять.

Можно восстановить прежний стиль в новом языке; так сказать, сыграть заново в манере, которая современна нам. При этом ты лишь воспроизводишь. Я занимался этим, когда строил дом.

Я имею в виду вовсе не придание старому стилю нового облачения. Нельзя взять старые формы и переодеть их в нынешние наряды. Нет, мы на самом деле говорим, пусть неосознанно, на прежнем языке, но в манере, которая соответствует новому миру, хотя, быть может, этот мир нам не слишком и нравится.

Некто реагирует так: говорит «Не так!» и сопротивляется. Из этой ситуации, быть может, вырастает не менее несносная, а потенциал возмущения, возможно, постепенно гасится. Мы говорим: «Не сделай он этого, никому не причинил бы зла». Но на каком основании? Кто ведает законы, по которым развивается общество?

Уверен, этого не знают и умнейшие. Если бьешься — бейся. Если надеешься — надейся.

Кто-то может биться, надеяться и даже верить, но не с научной точки зрения.

Наука: обогащение и обнищание. Один метод отодвигает все прочие. В сравнении с ним прочие выглядят ущербными, в лучшем случае — предварительными его этапами. Нужно добраться до истоков, чтобы увидеть все методы рядом, отвергнутые с предпочитаемыми.

Это я не могу основать школу или никакой философ на это не способен? Я не могу основать школу потому, что не

хочу подражаний. Во всяком случае не те, кто публикует статьи в философских журналах.

Употребление слова «судьба». Наше отношение к будущему и прошлому. До какой степени мы считаем себя ответственными за будущее? Как мы думаем о прошлом и будущем? Если случается что-либо нежелательное, спрашиваем ли мы: «Кто виноват?», говорим ли: «Кого за это винить?» — или же: «Все в воле Господней», «Это судьба»?

Задавая вопрос и настаивая на ответе, либо не задавая вопроса вовсе, мы выражаем особое отношение, особый образ жизни фразами «Воля Божья» или «Мы не хозяева своей судьбе».

Это суждение сходно, можно сказать, родственно заповеди. Включая ту, которую ты вручаешь сам себе. И наоборот, заповедь, например «Не ворчи», может быть произнесена как утверждение истины.

И почему же я столь ревностно развожу эти способы употребления «декларативных суждений»? Вправду ли это необходимо?

Разве люди прежних времен неправильно понимали, что они хотят сделать с предложением? Или это педантичность? Или просто попытка добиться правильного употребления? Быть может, реакция на переоценку науки. Использование слова «наука» для всего, что может быть сказано без примеси чепухи, уже выдает эту переоценку. В реальности это ведет к разделению предложений на два класса: хороших и дурных, и опасность велика. Как если бы разделить всех животных, растения и камни на полезных и вредных.

Но, конечно, слова «правильное» и «переоценка» выражают мою точку зрения. Я бы мог сказать: хочу помочь тому-то и тому-то добиться уважения, только мне это не нравится.

Судьба — антитеза естественного закона. Естественный закон — то, что пытаются измерить и использовать, к судьбе это не относится.

Мне ни в коем случае не ясно, чего я желал бы сильнее — продолжения моей работы другими или перемен в нашей жизни, которые сделают эти вопросы излишними. (По этой причине я никогда не смог бы основать школу.)

Философ говорит: «Посмотрите на мир так-то», — но почему бы сначала не сказать, что люди захотят посмотреть на мир так-то, что он, быть может, запоздал со своим предложением, что оно, возможно, ничего не даст и что импульс к переменам в жизни поступит совсем с другой стороны? К примеру, совсем не ясно, привел ли что-либо в движение Бэкон, не считая некрепких разумов его почитателей.

Ничто не кажется мне менее вероятным, чем ученый или математик, который, прочтя меня, подпадет в своей деятельности под мое влияние. (В этом отношении мои предупреждения — как плакаты на кассе железнодорожной станции: «Так ли уж необходима ваша поездка?»[43] Как будто бы кто-то скажет себе: «Здраво поразмыслив — нет».) Совсем иные орудия требуются здесь, в отличие от тех, которыми владею я. Скорее всего, я все же добьюсь того, что в ответ на мои рассуждения напишут кучу ерунды, хотя мой посыл ориентирован на нечто благое. Могу надеяться лишь на самое опосредованное из влияний.

Например, нет ничего глупее, чем рассуждения о причинах и следствиях в исторических трудах; ничего более неверного и сырого. Но кто может положить им предел, сказав об этом? (Как будто я хочу изменить мужскую и женскую моду.)

Подумайте о том, что было сказано по поводу Лабора: «Он говорит». Любопытно. И что же в его музыке напоминает о речи? И интересно, что это сходство с языком мы

находим не случайным, а важным и значимым! Нам бы назвать музыку (во всяком случае определенную) языком, но другая музыка таковым безусловно не является. (Не то чтобы это было ценностное суждение.)

Книга полна жизни — не как человек, но как муравейник.

Забываешь проникать к основаниям. Задавая вопросы, забываешь забираться вглубь.

Родовые муки при рождении новых идей.

«Мудрость седа». Жизнь, с другой стороны, как и религия, полна цвета.

Может быть, наука, индустрия и их прогресс — самые долгоживущие в современном мире. Любая догадка относительно грядущего коллапса науки и индустрии давным-давно стала пустой фантазией. Наука и индустрия в бесконечных бедствиях объединят мир. Я хочу сказать, сведут его в единую империю, в которой, конечно же, истинный мир найдет себе место последним.

Ведь наука и индустрия решают исход войн — или так кажется.

Не увлекайся тем, что делаешь, предположительно, только ты.

Мои мысли вращаются, похоже, в кругу более узком, чем я полагал.

Мысли медленно поднимаются к поверхности, как пузыри.

Порой кажется, будто видишь мысль, идею, как размытую точку на горизонте; зачастую она приближается с поразительной скоростью.

Если государством дурно управляют, полагаю, в таком государстве и в семьях не все ладно. Рабочий, готовый к забастовке, не будет воспитывать детей в уважении к порядку.

Бог даровал философу способность видеть то, что перед глазами у всех.

Жизнь словно тропа вдоль горного хребта: справа и слева тянутся покатые склоны, по которым съезжаешь в ту или другую сторону, не в силах зацепиться. Я вижу, как люди скатываются, и говорю: «И как помочь себе в такой ситуации?» К тому же приводит и отрицание свободы воли. Это отношение, которое выражает себя в данной «вере». Но это не научная вера и не имеет ничего общего с научными убеждениями.

Отрицать ответственность значит не считать никого ответственным.

У некоторых есть вкус, родственный интеллектуальному в той же степени, в какой визуальное восприятие подслеповатого человека родственно восприятию нормально видящего. Где нормальный глаз видит четкие детали, подслеповатый различает размытые пятна.

Тот, кто знает слишком много, с трудом удерживается от лжи.

Я так боюсь, когда кто-то в доме начинает играть на рояле, что, когда игра начинается и заканчивается, у меня что-то вроде галлюцинации, как если бы игра все продолжалась. Я слышу звуки очень отчетливо, хотя и знаю, что они звучат лишь в моем воображении.

Мне кажется, что религиозное убеждение может быть (чем-то вроде) страстного выбора системы координат. По-

сему, пусть это и вера, это на самом деле и образ жизни или образ суждения о жизни, — страстная приверженность этому восприятию жизни. И рассказывать о религиозном убеждении значит изображать, описывать эту систему отношений и в то же время взывать к совести. Вместе все приводит к тому, что человек наставляет себя сам, по собственной воле, страстно принимая данную систему отношений. Как если бы кто-то с одной стороны позволил мне увидеть мою безнадежную ситуацию, а с другой — изобразил спасательный якорь, который я, по своей воле или ведомый рукой наставника, в конце концов должен схватить.

Быть может, однажды культура прорастет из этой цивилизации.

Тогда появится истинная история открытий XVIII, XIX и XX столетий, представляющая грандиозный интерес.

В процессе научного исследования мы говорим что угодно; мы произносим слова, которых в ходе этого процесса сами не понимаем. Ведь, конечно, не все, что мы говорим, имеет конкретную цель, но наши уста и языки продолжают работать. Наши мысли движутся прототоренными тропами, мы автоматически совершаем переходы в соответствии с выученными правилами. А потом приходит время изучить сказанное. Мы сделали множество движений, не относящихся к цели, даже отдаляющих ее, а теперь должны прояснить наши мыслительные процессы философски.

Мне кажется, что я по-прежнему далек от понимания, от точки, в которой, наверное, буду знать, о чем говорю, а о чем говорить не нужно. Я по-прежнему путаюсь в мелочах, не ведая, следует ли мне вообще рассуждать о них; и создается впечатление, что я исследую большую область, попросту исключая ее из рассмотрения. Но даже в этом

случае размышления не будут бесполезными — до тех пор, пока они не пойдут по кругу.

1947–1948

Архитектура прославляет нечто (поскольку существует долго). Она прославляет цель.

Архитектура делает нечто бессмертным и прославляет. Посему не может быть архитектуры там, где нечего делать бессмертным (и прославлять).

Архитектура делает нечто бессмертным и прославляет. Посему не может быть архитектуры там, где нечего прославлять.

Архитектура прославляет нечто (поскольку существует долго). Посему не может быть архитектуры там, где нечего прославлять.

1948

При философствовании приходится спускаться в былой хаос и чувствовать себя в нем как дома.

Гений есть талант, в котором слышен голос характера. По этой причине, я бы сказал, Краус имеет талант, отменный талант, но он не гений.

Конечно, у него бывают проблески гениальности, где, несмотря на широкое употребление таланта, вы последнего не замечаете. Пример: «Ведь осел и бык тоже многое могут...»[44] Любопытно, что этот пример намного интереснее всего, написанного Краусом. Тут не только интеллектуальный костяк, но и человеческое существо в целом.

Вот причина, почему величие того, что некто пишет, зависит от всего, что он делает.

Во сне и долго после него слова сновидения кажутся нам имеющими небывалую ценность. Возможна ли та же ил-

люзия в бодрствующей жизни? Мне мнится, будто в эти дни я отчасти ей подвластен. У безумцев такое случается нередко.

То, что я пишу, может оказаться ерундой, в этом случае я попросту неспособен выразить нечто большое и важное. Но в этих беглых заметках скрыты великие перспективы.

Шиллер писал в письме (к Гете, кажется[45]) о «поэтическом настроении». Думаю, я знаю, что он хотел сказать; думаю, я знаком с этим состоянием. Это настроение восприимчивости к природе, мысли кажутся столь же яркими, как сама природа. Но странно, что Шиллер не оставил ничего лучше (мне так кажется), и потому я не до конца убежден, что любое мое творение в таком настроении чего-либо заслуживает. Вполне возможно, что то, что придает блеск моим мыслям, есть отраженный свет. Сами они не светятся.

Где другие идут вперед, я остаюсь стоять.

(Для предисловия[46].) Не без сопротивления я отдаю эту книгу публике. Руки, в которые она попадет, по большей части не те, в которых я хотел бы ее видеть. Может, скоро — я бы этого хотел — она окажется забытой философскими обозревателями и тем самым попадет к куда более заинтересованному читателю.

Время от времени одно из предложений, которые я пишу, делает шаг вперед; остальные же подобны ножницам парикмахера, они должны с лязгом двигаться, чтобы возможно было отрезать волосы в нужный момент.

Я снова и снова наталкиваюсь в отдаленных областях на вопросы, на которые не могу ответить, и становится ясно, почему я до сих пор не нашел своего пути в ближних

областях. Ибо откуда мне знать, что мешающее ответу здесь не то же самое, что не дает прояснить что-либо там?

Изюм может быть лучшей частью пирога, но кулек с изюмом не лучше пирога; тот, кто может дать нам кулек с изюмом, не в состоянии тут же испечь и пирог, не говоря уже о том, чтобы сделать что-то еще.

Думаю о Краусе и его афоризмах, а также о себе и своих философских ремарках.

Пирог не то, что он есть: в нем отсутствует изюм.

Цвета — стимул к философствованию. Быть может, это объясняет страсть Гете к теории цветов.

Цвета загадывают загадку, которая нас стимулирует, — а не раздражает.

Люди могут воспринимать зло внутри себя как слепое пятно.

Если правда, как я полагаю, что музыка Малера бесполезна, вопрос в том, как ему следовало распорядиться своим талантом. Ведь вполне очевидно, что потребен редкостный талант, чтобы сочинять столь дурную музыку. Может, ему стоило писать симфонии и сжигать их? Или учинить над собой насилие и ничего не писать? Но как он мог это понять? Я понял потому, что могу сравнить его музыку с сочинениями великих мастеров. Но он этого сделать не мог, поскольку тот, кому подобное пришло в голову, может испытывать предубеждения против ценности своих творений, ибо он, конечно, видит, что сам, так сказать, не обладает природой великих; это не значит, увы, что он оценит собственную непригодность, потому что он всегда может сказать себе: я отличаюсь от остальных (которыми тем не менее восторгаюсь), но превосхожу их в другом. Мы же скажем, пожалуй: если никто из тех, кем ты восхища-

ешься, не подобен тебе, тогда, вероятно, ты веришь в собственную значимость потому, что ты — это ты. Даже тот, кто сражается против тщеславия (не всегда успешно), будет обманывать себя насчет ценности своих творений.

Наиболее же опасным кажется подвергать свои творения сравнению, сначала самому, а потом радениями других, с великими трудами прошлого. Такое сравнение не может радовать. Ибо нынешние обстоятельства весьма отличны от тех, что были раньше, и нельзя сравнивать современное творение с классикой жанра, как нельзя и сравнивать его ценность с ценностью других работ. Сам я постоянно допускаю такую ошибку.

Непогрешимость есть все!

Конгломерат: национальные чувства и т. п.

Животные приходят, когда окликаешь по имени. Прямо как люди.

Я задаю бесчисленные посторонние вопросы. Если бы мне выйти наконец из этой чащобы!

Я на самом деле хочу замедлить скорость чтения посредством знаков препинания. Я хочу, чтобы меня читали медленно.

Думаю, Бэкон запутался в своей философии, и схожая опасность угрожает и мне. Он словно воочию наблюдал огромное здание, которое исчезло, когда он вознамерился уточнить детали. Как если бы его современники начали строить здание с фундамента, а он наблюдал нечто подобное в своем воображении, имел видение этого здания, пожалуй, более внушительное, нежели те, кто это здание возводил. Для этого необходимо обладать представлением о методе, а вовсе не талантом к строительству. Плохо

то, что он начал полемику со строителями и то ли не понял, то ли не захотел понять своей ограниченности.

С другой стороны, чрезвычайно тяжело увидеть эту ограниченность, а следовательно, четко ее обозначить.

То есть найти способ живописи, чтобы отобразить невнятность. Я повторяю себе: рисуй только то, что видишь.

Во фрейдовском анализе сон словно размонтируется. Он полностью утрачивает исходный смысл. Можно думать о нем как о спектакле, сюжет которого порой откровенно невнятен, а частью вполне понятен или кажется таковым. И этот сюжет расчленяют на малые части и дают каждой части сугубое значение. Можно также представить сон как рисунок на большом листе бумаги, который затем сложили так, что удаленные друг от друга фрагменты рисунка вдруг оказались рядом. Возникает новый рисунок, осмысленный или нет (это сон приснившийся, а первый рисунок — «скрытый смысл сновидения»).

Я воображаю, как кто-то, увидев разложенный рисунок, восклицает: «Да, так и есть, вот что я видел во сне, но без пробелов и искажений». Это признание наделяет подобный подход смыслом. Как если искать слово при сочинении текста и потом сказать: «Вот, оно выражает именно то, что я хотел». Признание помечает слово как найденное, то есть то, которое вы искали. (В этом случае можно сказать: только найдя его, вы поняли, что именно ищете, — как Рассел говорил о желаниях.)

В сне интригует не его очевидная связь с событиями жизни, но то, что он влияет на нас, как литературный текст, очень яркий текст, а остальное прячется во тьме. (Мы можем сказать: «Откуда, во имя всего святого, взялся этот образ и что с ним сталось?») Так и есть, и если кто-то докажет мне, что этот текст не является правильным, что в реальности ему соответствует совсем другое, я, пожалуй, скажу разочарованно: «Неужели?», как если бы меня огра-

били, чего-то лишили. Конечно, первоначальный текст пропадает, как новый рисунок, когда бумагу разворачивают; человек, которого я вижу, взят отсюда, его слова оттуда, обстановка сна откуда-то еще; но текст сновидения имеет собственное очарование, как вдохновляющая нас картина.

Разумеется, можно сказать, что мы осмысляем образы сна с воодушевлением, что мы вдохновляемся ими. Когда мы пересказываем сон кому-то другому, его эта картина не вдохновляет. Сон — словно идея, беременная возможными последствиями.

Чекань монету из каждой ошибки.

Понимание и объяснение музыкальной фразы. Простейшее объяснение — порою жест; другим может быть танцевальное па или слова, описывающие танец. Но разве наше понимание фразы не является опытом, который мы обретаем, когда ее слышим? И какую функцию в этом случае играет объяснение? Должны ли мы думать о музыке, когда ее слышим? Полагается ли нам воображать танец или что-либо еще? Если да — почему это называется пониманием музыки? Если необходимо видеть танец, надлежит, скорее, исполнять его, а не музыку. Все это — непонимание.

Я даю кому-то объяснение, говорю: «Как если бы...»; он говорит мне: «Да, теперь я понимаю» или: «Да, теперь я знаю, как играть». Прежде всего ему не надо принимать объяснение: в конце концов я вовсе не давал убедительных причин для сравнения того и этого фрагментов музыки. То есть я не объяснял, что сочинение композитора призвано обозначать то-то и то-то.

Если я сейчас спрошу: «Что я на деле испытываю, когда слышу музыку и слушаю ее с пониманием?» — в ответ я не получу ничего, кроме бессмысленности. То есть образов, двигательных ощущений, мыслей и тому подобного.

Конечно, я говорю: «Справлюсь» — но что это значит? Грубо это может означать, что я сопровождаю музыку жестами. И если мы укажем, что все происходящее измеримо лишь приблизительно, мы, возможно, получим ответ, что рудиментарные движения дополняются образами. Тем не менее примем, что некто сопровождает музыку жестами в полной мере — в каком смысле это помогает пониманию? И хочу ли я сказать, что движения суть понимание или же двигательные ощущения? (Что я знаю о них?) Верно то, что в определенных обстоятельствах я должен трактовать эти движения как признаки понимания.

Но могу ли я сказать (если отвергать образы, двигательные ощущения и пр. в качестве объяснения), что понимание представляет собой специфический опыт, который не может быть проанализирован? Что ж, это возможно, пока из опыта не следует специфическое содержание переживаний. Ибо эти слова побуждают думать о различиях, как между зрением, слухом и обонянием и т. д.

Как же тогда мы объясним кому-то, что значит «понимать музыку»? Называя образы, двигательные ощущения и пр., воспринятые кем-то, кто понимает? Более вероятно, указывая на выразительные движения понимающего. Так или иначе, еще возникает вопрос, какой функцией обладает здесь объяснение? Что значит понимать то, что означает музыка? Некоторые могут сказать: понимать ее значение — это понимать саму музыку. И вопрос будет звучать так: можем ли мы научить кого-то понимать музыку? — лишь подобное наставничество можно назвать пониманием музыки.

Одобрение музыки выражается конкретным способом, в процессе слушания и исполнения и в иное время. Это выражение порой включает в себя движения, а порой оказывается всего лишь способом, каким тот, кто понимает, исполняет или напевает, быть может, заодно рисуя образы, иллюстрирующие музыку. Тот, кто понимает, будет

слушать музыку иначе (с иным выражением лица), исполнять иначе, напевать иначе, рассуждать о музыке иначе, нежели непонимающий. И его одобрение темы проявится не только в явлениях, сопровождающих исполнение музыки, но и в понимании музыки в целом.

Понимать музыку значит жить человеческой жизнью. Как это можно описать кому-то? Что ж, прежде всего, полагаю, мы должны описать музыку. Затем мы можем описать отношение людей к музыке. Но все ли это, что необходимо, или нужно еще научить понимать музыку для себя? Прививая понимание, мы научим нашего собеседника, что понимание отличается от объяснения, которое несет иную цель. И снова, научив его ценить поэзию или живопись, мы отчасти объясним, что такое музыка.

Наши дети узнают в школе, что вода состоит из газов водорода и кислорода, а сахар — из углерода, водорода и кислорода. Всякий, кто не понимает этого, глуп. А самые важные вопросы опускаются.

Красота звездообразной формы — шестиугольной звезды, быть может — искажается, если мы воспринимаем ее расположенной симметрично заданной оси.

Бах говорил, что все, чего он добился, есть результат прилежания. Но подобное прилежание предполагает смирение и грандиозную способность сострадать, то есть силу. И всякий, кто вдобавок может выразить себя полностью, просто обращается к нам на языке великих.

Думаю, что нынешнее образование нацелено на сокращение способности к страданию. Сегодня школа считается хорошей, если дети в ней хорошо проводят время. А в прошлом не это было критерием. Родители желают, чтобы дети росли похожими на них (чем дальше, тем больше),

и все же дают им образование, отличное от их собственного. Способность к страданию ценится невысоко, поскольку страданий не предполагается, они несовременны.

«Козни вещей». Ненужный антропоморфизм. Мы можем говорить о злобности мира, легко представляем, что дьявол сотворил мироздание или его часть. И нам не нужно воображать демона, вмешивающегося в конкретные ситуации; все может случиться в соответствии с законами природы. Просто целый пласт бытия нацелен на зло с самого начала. Но человек существует в мире, в котором вещи ломаются, распадаются, причиняют любой возможный урон. И сам он, конечно, одна из таких вещей. Злоба объекта — глупый антропоморфизм. Ибо истина куда суровее, чем этот вымысел.

Стилистическое средство может быть полезным, и все же мне претит его использовать. Шопенгауэровское «как и тот, который» — вот пример: с одной стороны, он нередко проясняет смысл фразы, но некоторые воспринимают его как архаический, и это значение оборота также следует учитывать.

Религиозная вера и суеверие весьма различны. Первая вырастает из страха и есть вид ложной науки. Вторая заключается в доверии.

Было бы почти странно, не будь на свете животных с психической жизнью растений. То есть фактически с отсутствием психической жизни.

Думаю, может считаться фундаментальным законом естественной истории, что, когда нечто в природе «обладает функцией», «служит цели», то же случается в обстоятельствах, где нет цели, где нечто «дисфункционально».

Если сновидения порой защищают сон, можно быть уверенным, что порой они его нарушают. Если сонные галлюцинации порой служат благой цели (исполнению желаний во сне), можно быть уверенным, что они способны и на обратное. Не существует «динамической теории» сновидений.

Что важно в строгом отображении аномалий? Если ты на это не способен, отсюда следует, что ты не умеешь обращаться с понятиями.

Я слишком мягок, слишком слаб и ленив, чтобы добиться чего-то значимого. Прилежание великих есть, среди прочего, признак их силы, отличный от внутреннего богатства.

Если Бог вправду выбрал тех, кому суждено спастись, нет причин, почему он не мог выбрать их по признакам расы, национальности, характера. Почему этот выбор не может быть выражен в терминах законов природы? (Ведь Он, конечно, мог выбирать и так, чтобы выбор следовал некоему закону.)

Я читал отрывки из сочинений Сан-Хуана де ла Крус[47], в которых говорится, что люди идут к гибели, поскольку им не повезло найти в нужный миг истинного духовного пастыря.

И как можно определить, что Бог не испытывает людей?

Хочется сказать: верно, что искаженные понятия приносят немалый вред, но верно и то, что я совсем не знаю, что хорошо, а что сулит беду.

Нельзя забывать: даже самые утонченные, самые философские эмоции основаны на инстинктах. Пример: фраза «Мы никогда не знали...» подразумевает восприимчивость к дальнейшим доказательствам. Люди, которых не-

возможно научить понимать мир, кажутся нам духовно неразвитыми. Не способными сформулировать конкретное понятие.

Если сновидения обладают той же функцией, что и грезы наяву, тогда они отчасти готовят людей к любой возможности (включая самое худшее).

Если кто-то истово верит в Бога, почему не в Иные Сознания?

Музыкальная фраза для меня — жест. Она проникает в мою жизнь, я делаю ее своей.

Бесконечные вариации суть часть нашей жизни. Как и жизненные привычки. Выражение заключено для нас в непредсказуемости. Если я знаю точно, какую он скорчит гримасу или как двинется, не будет ни выражения лиц, ни жестов. Верно ли? В конце концов я могу слушать снова и снова фрагмент музыки, который знаю наизусть; его могут даже сыграть куранты. Жесты мелодии для меня все равно останутся жестами, хотя я знаю, что будет дальше. Я могу даже снова и снова удивляться (в известном смысле).

Честный религиозный мыслитель — как канатоходец. Выглядит почти так, словно он ступает по воздуху.

Его опора тонка до невообразимости. И все же по ней возможно пройти.

Неколебимая вера (например, в пророчество). Менее ли она прочна, нежели математическая истина? (И делает ли это языковые игры более схожими?)

Для нашего метода важно, что некто может чувствовать по отношению к другим людям: он никогда не узнает скры-

того внутри них. Он никогда их не поймет. (Англичанки для европейцев.)

Думаю, важно и примечательно, что музыкальная тема, если она сыграна в разных темпах, меняет свой характер. Переход из количества в качество.

Проблемы жизни неразрешимы на поверхности и могут быть разрешены лишь на глубине. На поверхности они неразрешимы.

В разговоре: один бросает мяч, другой не знает, бросить ли мяч обратно, кинуть третьему, оставить лежать или подобрать и сунуть в карман и т. д.

Великий архитектор в плохое время (Ван дер Нюль[48]) решает иную задачу, чем великий архитектор в хорошее время. Вас не должны обманывать общие термины. Не принимайте сравнимость, только несравнимость.

Нет ничего более важного, чем конструирование вымышленных понятий, которые научат нас наконец понимать себя.

«Мыслить трудно» (Уорд[49]). Что это на самом деле значит? Почему трудно? Почти все равно что сказать: «Смотреть трудно». Да, пристально смотреть трудно. Можно смотреть пристально и ничего не увидеть или думать, что вы что-то видите, но не видеть отчетливо. Можно устать от рассматривания, даже если вы ничего не видите.

Если нельзя распутать узел, разумнее всего, как и достойнее всего, это признать. (Антисемитизм.)

Что следует делать, чтобы исправить урон, неясно. Что недопустимо, ясно при сравнении двух случаев.

Замечательно, что рисунки Буша[50] часто называют «метафизическими». Значит, есть способ рисовать метафизически. «Увиденное на фоне вечности»[51], можно сказать и так. Однако его штрихи имеют значение только в языке в целом. Это язык без грамматики, нельзя перечислить его правила.

В старости Карл Великий безуспешно пытался научиться грамоте; некто столь же безуспешно пытается научиться мыслить. Он никогда не освоит новое умение до конца.

Речь в строгом ритме, можно говорить под ритм метронома. При этом и музыка, подобная нашей, может частично исполняться под метроном. (Играю тему из Восьмой симфонии[52] под метроном.)

Достаточно уже того, что все члены сообщества имеют одинаковые выражения лиц, чтобы мы не смогли оценить их.

Если ложная мысль выражена смело и ясно, уже достигнуто многое.

Лишь размышляя куда безумнее, чем размышляют философы, возможно решить их проблемы.

Пусть некто смотрит на маятник и думает: Бог заставил его двигаться вот так. Что ж, разве Бог не вправе действовать согласно расчету?

Писатель намного талантливее моего все равно будет иметь малый талант.

Люди имеют физическую потребность говорить себе во время работы: давайте сделаем это сейчас, и это постоянно отражается и в философствовании, что изрядно затрудняет сей опыт.

Должно принимать как данность погрешности собственного стиля. Почти как дефекты собственного лица.

Всегда схожу с голых высот разума в зеленые долины прихотей.

Я имею один из тех талантов, которые постоянно творят благо из необходимости.

Традиция не есть то, чему кто-то может научиться, это не нить, которую некто может подобрать, если захочет, это не более возможно, чем подбирать собственных предков.

Тот, кто не имеет традиции и хочет ею обзавестись, похож на несчастного любовника.

Счастливый любовник и несчастный — оба обладают особой чувствительностью.

Но тяжелее вести себя как несчастный любовник, чем как счастливый.

Мур[53] со своим парадоксом залез в философское осиное гнездо, и если осы не повылетали, то лишь потому, что они не слишком внимательны.

Во владениях разума проект обычно не начинают заново, и не надо этого делать. Эти мысли удобряют почву для новых.

Плохой философ тот, чьи сочинения трудны для понимания. Лучше тот, из трудов которого легко понять сложное. Но кто сказал, что это возможно? (Толстой)

Величайшее счастье человека есть любовь. Допустим, ты говоришь о шизофренике: он не любит, не может любить, отказывается любить — в чем разница?

«Он отказывается» значит: это в его власти. И кто захочет такое сказать?

Что ж, о чем мы говорим, когда говорим: «в его власти»? Мы говорим так, желая провести различие. Я могу поднять этот груз, но не стану; значит, я не подниму этот груз.

«Бог заповедал, поэтому мы должны это сделать». Это ничего не значит. Тут нет ничего обязывающего.

Два выражения могут в лучшем случае обозначать одно и то же.

«Он заповедал» значит приблизительно: Он накажет любого, кто ослушается. И ничего не говорится насчет возможности. Вот смысл «предопределения».

Но это не значит, что правильно говорить: «Он карает, посему мы не можем поступить иначе». Быть может, кто-то скажет: там кара, где наказание со стороны людей недопустимо. И все понятие «кары» меняется. Ведь старые образы более не приложимы или приложимы совершенно иначе. Возьмем хотя бы аллегорию из «Пути паломника»[54] и увидим: ничто — в человеческих терминах — не правильно. (На железнодорожных станциях висят циферблаты с двумя стрелками, указывающие, когда отправляется следующий поезд. Они похожи на часы, но таковыми не являются; и все же приносят пользу.) (Надо подобрать сравнение получше.)

Тому, кого раздражает эта аллегория, можно сказать: используй ее иначе или не обращай внимания. (Но некоторым она не столько поможет, сколько запутает.)

Все, что читатель в состоянии сделать сам, оставь ему.

Почти все время я веду письменные беседы с собой. Говорю с собой тет-а-тет.

Тщеславие есть смерть мысли.

Юмор — не настроение, но взгляд на мир. И потому, если справедливо утверждение, что в нацистской Герма-

нии юмор уничтожен, это не значит, что люди там постоянно в дурном настроении; это значит нечто более глубокое и куда более важное.

Двое людей смеются, возможно, над шуткой. Один из них произнес какие-то необычные слова, и оба расхохотались. Это может показаться весьма странным тому, кто имеет за плечами совсем иной опыт. Зато мы находим это вполне разумным.

(Я лицезрел эту сценку недавно в автобусе и представил себя в шкуре человека, непривычного к такому поведению. Меня поразила иррациональность, словно я наблюдал чужеземных животных.)

1949

Вспоминая сон, попурри воспоминаний. Часто возникает важное и загадочное целое. Фрагмент производит немалое впечатление (сам по себе), и мы ищем объяснения и связи.

Но откуда берутся эти воспоминания? Кто скажет? Они могут быть связаны с нашей текущей жизнью, с нашими желаниями, страхами и т. д. «Вы хотите сказать, что это явление должно корениться в причинной связи?» Я хочу сказать, что не обязательно имеет смысл рассуждать о причинах.

Шекспир и сны. Во сне все не так, абсурдно, сложно и все же правильно: в этом странном сочетании оно производит впечатление. Почему? Я не знаю. И если Шекспир велик, как говорят, тогда мы можем сказать о нем: все не так, дела обстоят иначе — и все же в точности так, по внутренним законам.

Можно выразиться следующим образом: если Шекспир велик, тогда он велик только в совокупности своих пьес, которые создают собственный язык и мир. То есть он полностью нереалистичен. (Как сон.)

Если христианство истинно, тогда вся философия о нем ложна.

Культура есть наблюдение. Или, по крайней мере, предполагает наблюдение.

Понятие «празднество» связано для нас с весельем: в иные времена, возможно, только со страхом и ужасом.

Что мы называем «остроумием» и что называем «юмором», несомненно, не существовало в прежние времена. И то и другое постоянно меняются.

«Le style c'est l'homme». «Le style c'est l'homme même»[55]. Первое выражение обладает дешевой лаконичностью эпиграммы. Второе, верное, открывает совершенно иную перспективу. Оно гласит, что стиль есть картина человека.

Есть ремарки, которые сеют, и ремарки, которые жнут.

Чтобы составить пейзаж понятийных отношений из индивидуальных фрагментов, нужны немалые усилия; я делаю это лишь в первом приближении.

Если я готовлюсь к некой случайности, можете быть уверены, что она не наступит. При определенных условиях.

Бывает, что ощущаешь: то, что хотят сказать, мыслится более ясно, чем выражают словами. (Со мной такое происходит часто.) Как если бы отчетливо вспомнил сон, но не сумел его пересказать. Образ часто для писателя (для меня) прячется за словами, и слова его будто описывают.

Посредственный писатель должен остерегаться поспешного стремления заменить грубые, некорректные

---

* «Стиль — это человек», «стиль — это сам человек» (*фр.*).

выражения правильными. Поступая так, он убивает оригинальную идею, которая есть живое семя. Оно съеживается и уже никуда не годится. Он вполне может выбросить его в мусорную кучу. Тогда как это семя все еще полезно.

Что писатели, которые что-то собой представляют, устаревают, связано с тем фактом, что их сочинения, дополненные обстановкой эпохи, многое значат для людей, но умирают без эпохи, как бы лишившись света, наделявшего их красками.

И я верю, что красота математических выражений, как полагал и Паскаль, связана с этим.

Внутри способа миросозерцания эти выражения обладают красотой — но не тем, что поверхностные люди называют красивостью. Кристалл тоже красив не в любом окружении — хотя, пожалуй, всегда привлекателен. Так, целые эпохи ощущали себя неспособными вырваться изпод власти тех или иных понятий — например, «прекрасного» и «красоты».

Мои размышления относительно искусства и ценности содержат куда меньше иллюзий, чем считалось возможным 100 лет назад. Однако это не значит, что они потому более правильны. Это значит лишь, что у меня в сознании есть примеры гибели, которые были неведомы людям 100 лет назад.

Беды как болезни: приходится с ними мириться, и хуже всего восставать против них.

Они нападают, подстегнутые внешними или внутренними причинами. И говоришь себе: вот снова.

Научные вопросы могут интересовать меня, но не захватывают целиком. Лишь понятийные и эстетические вопросы мне близки. В глубине души мне все равно, найдутся ли решения научных проблем; а вот с другими не так.

Даже если мы не мыслим по кругу, порой мы идем напрямик через чащу вопросов на открытую местность, порой движемся неторной, извилистой тропой, которая никуда не выводит.

Шаббат[56] — не просто время отдыхать, набираться сил. Нам предлагают оценить свой труд извне, не только изнутри.

Вот как философы должны приветствовать друг друга: «Предавайся!»

Для человека вечное, логическое зачастую скрыто за непроницаемой завесой. Он знает, что там что-то есть, но не может увидеть; завеса отражает солнечный свет.

Почему некто не может быть абсолютно несчастным? Это человеческая возможность. Коринфский багатель[57] — один из примеров движения шара. И, возможно, не самый редкий.

Долины глупости имеют больше травы для философа, чем голые высоты ума.

Изохронизм[58] в часах и в музыке. Они ни в коей мере не одинаковы. Играть по времени не значит играть под метрономом. Но возможно, что некая музыка должна быть сыграна под метрономом. (Начальная тема второго акта Восьмой симфонии из этой категории?)

Можно ли понятие адской кары объяснить не только через понятие кары? Или понятие Божественного блага не только через понятие добра?

Если хотите добиться нужного эффекта словами — конечно, нет.

Примем, что кого-то учат: есть существо, которое, если поступить так-то, жить так-то, заберет вас после смерти в место вечных мук; большинство отправится туда, а немногие попадут в место вечной радости. Это существо заранее отбирает тех, кто попадет в хорошее место, а поскольку лишь те, кто ведет определенный образ жизни, обречены на вечные муки, оно также заранее отбирает и таких людей.

Каковы следствия такой доктрины?

Что ж, тут нет упоминания о каре, зато присутствует что-то вроде закона природы. И всякий, кому это изложить именно так, воспримет наши слова с недоверием или отчаянием.

Учить этому — вовсе не этический подход. И если вы хотите обучить кого-то этике и учите вот так, значит, доктрину нужно преподать после этического учения и подать ее как непостижимую загадку.

«В Своей благости Он избрал их, тебя же Он покарает». Бессмысленно. Две части высказывания принадлежат двум различным взглядам на мир. Вторая часть этична, первая же — нет. И вместе с первой вторая абсурдна.

Не случайно «петь» рифмуется с «иметь». Но по счастливому случаю, который можно обнаружить.

В музыке Бетховена впервые найдено то, что можно назвать выражением иронии. Например, первые строки Девятой симфонии. Для него это горькая ирония, ирония судьбы. У Вагнера ирония возникает вновь, но обуржуазивается.

Можно твердо сказать, что Вагнер и Брамс, каждый посвоему, подражают Бетховену, но что у него космическое, то у них приземленное.

То же можно найти у него, но он следует иным законам.

В музыке Моцарта или Гайдна судьба не играет роли. Эта музыка судьбу не затрагивает.

Глупец Тови[59] говорит где-то, что это, или что-то вроде того, связано с фактом, что Моцарт не имел доступа к литературе определенного сорта. Как если бы было доказано, что лишь книги сделали музыку мастеров великой. Разумеется, книги и музыка связаны. Но если Моцарт не читал трагедий, значит ли это, что он не встречал трагедий в жизни? И всегда ли композиторы смотрят на мир лишь сквозь окуляры поэтов?

Лишь в сугубо конкретном музыкальном контексте есть такое явление, как трехчастный контрапункт.

Выражение души в музыке. Оно не описывается в терминах громкости и темпа. Не более чем выражение души в мимике описывается в терминах распределения материи в пространстве. Оно не описывается даже посредством парадигмы, поскольку тот же фрагмент может быть сыгран выразительно множеством способов.

Сущность Бога есть гарантия Его существования — это на самом деле значит, что речь идет вовсе не о существовании чего-либо.

Разве нельзя сказать, что сущность цвета обеспечивает его существование? В противоположность, скажем, белому слону? Ведь это значит лишь: я не могу объяснить, что такое «цвет», что значит слово «цвет» без помощи цветового примера. И в нашем случае нет такого объяснения, что было бы, если бы цвета существовали.

Теперь можно сказать: возможно описание того, на что было бы похоже, существуй боги на Олимпе — но не: существуй Бог. И это определяет понятие «Бог» точнее.

Как нас учат слову «Бог» (его употреблению)? Я не могу дать обстоятельного систематического объяснения. Но

могу сделать вклад в описание: могу сказать нечто и, быть может, привести ряд примеров.

Подумайте в этой связи, что в словаре некто, возможно, захочет дать примеры употребления, но в реальности приведет лишь несколько слов вместе с объяснениями. Однако на деле больше и не требуется. Какая нам польза от чрезвычайно длинного толкования? Что ж, от него не будет пользы, если оно касается употребления слова в языках, уже нам знакомых. Но что, если мы найдем описание употребления ассирийского слова? И на каком языке? Скажем, на другом нам знакомом. В этом описании то и дело встречались бы слова «иногда», «нередко», «обычно», «почти всегда» или «почти никогда».

Трудно создать четкий образ подобного описания.

Я стремлюсь показать себя как художника, зачастую весьма дурного.

На что похоже, когда у людей разнится чувство юмора? Они неадекватно воспринимают друг друга. Как если бы у некоторых была привычка кидаться мячом, который другие должны ловить и бросать обратно; но другие не бросают мяч обратно, а прячут в карман.

Или: каково не иметь представления, как оценить вкус другого?

Образ, укорененный в нас, можно сравнить с суеверием, но можно и сказать, что мы всегда опираемся на твердую почву, будь это образ или нет, так что образ в глубине нашего мышления следует уважать и не трактовать как суеверие.

1950

Приходится слышать, что на чей-то характер влияет внешний мир (Вайнингер). Это значит лишь, что, как нам извест-

но из опыта, люди меняются под обстоятельствами. Если кто-то спросит: как влияет окружение на человека, на его нравственное начало? — ответ на самом деле будет таким: «Человек не обязан поддаваться искушению, но все равно при таких-то обстоятельствах некто сделает то-то и то-то».

«Вы не обязаны, я покажу вам другой способ — но вы не послушаетесь».

Не думаю, что Шекспира можно поставить в ряд с другими поэтами.

Был ли он, скорее, творцом языка, чем поэтом?

Я могу лишь смотреть в восхищении и не пытаюсь даже подступиться к нему.

Я с глубоким подозрением отношусь к почитателям Шекспира. Думаю, беда в том, что он, по крайней мере в западной культуре, стоит особняком, так что его можно поместить в ряд лишь неверно.

Не то чтобы Ш. хорошо изображал человеческие типажи и был близок к жизни. Он вовсе к ней не близок. Но у него такая твердая рука и такие привольные мазки, что всякий из его персонажей выглядит значимым, достойным.

«Великое сердце Бетховена» — никто не скажет «великое сердце Шекспира». Твердая рука, создавшая новые формы языка, кажется мне более точным образом.

Поэт не может на деле сказать о себе: «Я пою, как птица»; но Ш., быть может, мог бы сказать такое.

Одна и та же тема имеет различное выражение в миноре и в мажоре, но совершенно ошибочно говорить о некоем общем характере минора. (У Шуберта мажор часто звучит печальнее минора.)

Точно так же, думаю, нелепо и тщетно для понимания картины рассуждать о характерах отдельных цветов. Тем самым мы рассуждаем лишь о практическом применении. Тот факт, что зеленый воспринимается в качестве цвета

скатерти иначе, нежели красный, никак не дает представления об их роли в картине.

Не думаю, что Шекспир размышлял о «жребии поэта». И вряд ли он воспринимал себя как пророка или наставника человечества.

Люди глядят на него с изумлением, как на чудо природы. Они не чувствуют, что вступают в контакт с великим человеком. Скорее, это природный феномен.

Думаю, чтобы наслаждаться творчеством поэта, нужно любить культуру, к которой он принадлежит. Если вы к ней безразличны или она вас отталкивает, ваше восхищение остывает.

Если верующий в Бога оглянется и спросит: откуда взялось все вокруг? откуда появилось то, что я вижу? — он требует вовсе не привычного объяснения; суть его вопроса в том, что это — выражение его поисков. Он выражает тем самым настрой по отношению ко всем объяснениям. Но как это проявляется в его жизни?

Этот настрой подразумевает принятие чего-то всерьез, но при том до определенного момента. И убеждение, что есть еще нечто более серьезное.

Кто-то может сказать, например, что весьма серьезно, если тот-то и тот-то умерли, прежде чем завершили свои труды; в ином смысле это не имеет значения. Можно сказать: «в более глубоком смысле».

На деле я хочу сказать, что важны не слова, которыми пользуются, и не мысли, которые их сопровождают, а различное влияние, которое они оказывают на вас в разное время. Откуда мне знать, что двое хотят сказать то же самое, когда говорят, что верят в Бога? И то же самое применимо к Троице.

Теология настаивает на конкретных словах и фразах и запрещает все другие (Карл Барт[60]). Она жестикулирует

словами, потому что хочет сказать нечто и не знает, как это сделать. Практика наделяет слова смыслом.

Доказательство Бога должно быть чем-то, посредством чего вы можете убедить себя в существовании Бога. Но думаю, что верующие, предлагающие такие доказательства, хотят анализировать и найти опору своей «вере» в интеллекте, хотя сами никогда не обретут веры через подобные доказательства. «Убедить кого-то в существовании Бога» — задача, которую можно решить посредством воспитания, формирования жизни сугубым образом.

Жизнь может научить верить в Бога. И опыт тоже, но не видения и не прочие чувственные восприятия, которые доказывают существование Верховного Существа, например муки разного рода. Они не показывают Бога в том смысле, в каком показывается объект, и не порождают умозаключений о нем. Опыт, мысли — сама жизнь навязывает нам понятия.

Так что, может быть, это понятие равнозначно понятию объекта.

Причина, по которой я не понимаю Шекспира, в том, что я хочу найти симметрию в асимметрии.

Мне кажется, что все его сочинения представляют собой грандиозные наброски, а не картины; как если бы их нарисовал некто, позволявший себе, так сказать, что угодно. И я понимаю, что этим можно восхищаться и называть высоким искусством, но мне оно не нравится. И я могу понять тех, кто замирает перед его сочинениями в безмолвном изумлении, но восхищаться им так, как восхищаются Бетховеном, значит для меня не понимать Шекспира.

Одна эпоха не понимает другую, и мелкая эпоха не понимает все прочие особым, ничтожным, уродливым образом.

Как Бог судит людей, этого нам не представить. Если Он и вправду прибегает к искушению и использует слабости человеческой натуры, кого Он может обвинять? А если нет, тогда эти две силы попросту сочетаются, ибо конец предрешен. В таком случае человек сотворен побеждать либо подчиняться взаимодействию сил. И это не религиозная идея, а научная гипотеза.

Если хотите остаться в пределах религии, вы должны бороться.

Посмотрите на человека: один отравляет другого. Мать сына, и наоборот. Но мать слепа, и сын тоже слеп. Быть может, их терзают муки совести, но какой им от того прок? Ребенок зол, но никто не учит его иному, а родители лишь портят его своей глупой привязанностью; и как им это понять, и как понять ребенку? Они, так сказать, все злы и все невинны.

Философия не добилась прогресса? Если чешешь там, где зудит, это прогресс? Может, это просто почесывание, просто зуд? И не может ли эта реакция на раздражение продолжаться очень долго, прежде чем найдется лекарство от зуда?

1951

Бог может сказать мне: «Я сужу тебя твоими же устами. Ты дрожишь от отвращения к собственным деяниям, когда видишь их в других людях».

Смысл веры в дьявола не в том ли, что не все побуждает нас к добру?

Нельзя судить себя, если ты не сведущ в категориях. (Иногда стиль Фреге величественен; Фрейд пишет вели-

колепно, и читать его — удовольствие, но его творения не величественны.)

Если мне на глаза падет
вуаль настоящей любви,
при всплеске рук
движение их, смысла лишенное,
станет моей душой.

Ухватишь ли ее,
когда колеблется почти беззвучно
и в сердце глубоко след оставляет?
К заутрене звонят,
и садовник выходит в свой сад,
легко по земле ступая,
и цветы распрямляют стебли
и глядят испытующе ему в лицо,
мирное, светлое:
кто соткал твою легкую поступь,
что касается нас дуновением ветерка?

Или зефир у тебя на посылках?
Паук ли то был или шелкопряд?

О ДОСТОВЕРНОСТИ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Этот текст представляет собой записи Л. Витгенштейна последних полутора лет его жизни. В середине 1949 года он посетил США по приглашению Нормана Малькольма и жил у Малькольма в Итаке. Малькольм послужил своего рода катализатором интереса Витгенштейна к муровской «защите здравого смысла», то есть к утверждению последнего, что существуют суждения, заведомо истинные: например, «Вот одна рука, а вот другая»; «Земля существовала задолго до моего рождения» и «Я никогда не отдалялся от поверхности планеты». Первое из этих суждений приводится в «Доказательствах внешнего мира» Мура. Два других — в его же «Апологии здравого смысла». Витгенштейн давно интересовался подобными суждениями и говорил Муру, что «Апология» — его лучшая работа. Этот текст содержит все высказывания Витгенштейна по данной теме. К сожалению, преждевременная кончина не позволила ему отшлифовать заметки.

Материал делится на четыре части, соответственно обозначенные пунктами § 1, 65, 192 и 299.

То, что мы согласились считать первой частью, представляет собой заметки без дат на двадцати разлинован-

ных листах; Витгенштейн оставил эти листы в доме Г. Энскомб в Оксфорде, где жил (не считая поездки в Норвегию осенью) с апреля 1950 по февраль 1951 года. У меня (Г. Э.) создалось впечатление, что он писал их в Вене, где проживал с прошлого Рождества до марта, но я не могу ничем подтвердить свое ощущение. Остальные заметки взяты из записных книжек, где чаще всего указаны даты; к концу жизни у Витгенштейна утвердилась привычка датировать любую запись. При публикации мы стремились сохранить авторскую датировку; при этом нумерация параграфов принадлежит редакторам.

Нам представляется, что эта работа обладает определенной ценностью. Это не выборочная публикация; Витгенштейн в записных книжках выделял записи по теме в отдельные блоки — четыре блока за восемнадцать месяцев. В совокупности они дают полную картину его взглядов на предмет.

Гертруда Э. М. Энскомб
Генрик Х. фон Вригт

1. Если известно, что есть одна рука, то мы допускаем и все остальное.

Когда некто говорит, что такое-то и такое-то суждения не могут быть доказаны, это вовсе не означает, что их нельзя вывести из других суждений; любое суждение может быть выведено из другого. Но они будут не более достоверны, чем исходные. (На сей счет есть любопытная ремарка Г. Ньюмана[1].)

2. Если мне — или кому-либо — кажется, что так и есть, отсюда вовсе не следует, что так и есть.

Мы можем спросить, разумно ли сомневаться.

3. Если кто-либо говорит: «Не знаю, рука ли это», ему можно ответить: «Приглядитесь получше». Возможность убедить другого составляет часть языковой игры. Это одна из основных ее характеристик.

4. «Я знаю, что я человек». Чтобы убедиться, насколько туманен смысл этого суждения, рассмотрим его отрицание. Возможно трактовать его так: «Я знаю, что обладаю человеческими органами» (например мозгом, который никто не видит). Но что насчет суждения «Я знаю, что обладаю моз-

гом»? Можно ли усомниться в нем? Основания для сомнения отсутствуют! Все говорит в пользу истинности этого суждения и ничто — против. Тем не менее возможно представить, что мой череп, если его вскрыть, окажется пустым.

5. Окажется ли суждение ложным, зависит прежде всего от того, что я считаю его определениями.

6. И можно ли исчислить то, что знаешь (подобно Муру)? На первый взгляд кажется, что нет; иначе выражение «я знаю» получает неверное употребление. И через это неверное употребление раскрывается причудливое и весьма важное психическое состояние.

7. Моя жизнь показывает, что мне достоверно известно: вон там стоит стул, имеется дверь и т. д. Я говорю, например, другу: «Возьми тот стул», «Закрой дверь» и т. п.

8. Различие между понятиями «знание» и «уверенность» не имеет важного значения, не считая того, что слова «я знаю» означают именно «я не могу ошибаться». В суде, к примеру, выражение «я уверен» может заменить слова «я знаю» в каждом предложении показаний. Возможно даже вообразить запрет на произнесение в суде слов «я знаю». (Отрывок из «Вильгельма Мейстера»[2], где «вы знаете» и «вы знали» используются в значении «вы (были) уверены», а факты противоречат уверенности.)

9. И могу ли я, на протяжении жизни, быть уверенным, что знаю — есть рука (моя собственная рука)?

10. Я знаю, что там лежит больной? Ерунда! Я сижу у его постели. Я всматриваюсь в его лицо. — Значит, я не знаю, лежит ли там больной? Ни вопрос, ни утверждение не имеют смысла.

Не более чем утверждение «Я здесь», которое я могу использовать в любой подходящий момент при возникновении подходящей ситуации.

Тогда и выражение «2 × 2 = 4» тоже бессмысленно и не является арифметическим суждением, за исключением особых случаев? Выражение «2 × 2 = 4» есть истинное суждение арифметики — не в «особых случаях» и не «всегда», однако записанное или произнесенное выражение «2 × 2 = 4» в китайском языке может иметь иное значение или предстать откровенной бессмыслицей, из чего следует, что суждение обретает смысл лишь в употреблении. И фраза «я знаю, что там лежит больной», использованная в надлежащей ситуации, будет не бессмысленной, но адекватной, поскольку легко вообразить соответствующую ей ситуацию; можно подумать, что слова «я знаю» всегда уместны, когда нет сомнений, и потому даже там, где выражение сомнения непонятно.

11. Мы просто не замечаем, насколько специализировано употребление слов «я знаю».

12. Ведь слова «я знаю» описывают состояние, которое гарантирует известное, удостоверяет его как факт. Всегда забывают выражение «я думал, что знаю».

13. Потому что суждение «Это так» нельзя вывести из чьего-либо утверждения: «Я знаю, что это так». Пусть даже об утверждении известно, что оно не является ложным. Но почему я не могу вывести суждение «Это так» из моих собственных слов: «Я знаю»? Это возможно; и суждение «Вот рука» следует из суждения «Он говорит, что вот это рука». Но из утверждения: «Я знаю, что» не следует, что человек что-то знает.

14. То, что он знает, должно быть доказано.

15. Должно быть доказано, что возможные ошибки устранены. С учетом этого слов «Я знаю» недостаточно. Ибо они на самом деле суть утверждение, что я не могу ошибаться, а то обстоятельство, что я не ошибаюсь, должно быть объективно подтверждено.

16. «Если я что-то знаю, тогда я знаю, что знаю, и т. д.» Это сводится к следующему: «Я знаю, что» означает: «Я не способен в этом ошибаться». Но так ли это, должно быть установлено объективно.

17. Предположим, я говорю: «Я не способен ошибаться насчет этого; это книга» и указываю на некий предмет. В чем здесь может быть ошибка? Имею ли я о ней ясное представление?

18. «Я знаю» часто означает: я располагаю надежными основаниями для своего утверждения. И потому, если другой человек знаком с правилами языковой игры, он признает, что я что-то знаю. Другой человек, если он знаком с правилами языковой игры, должен быть способен вообразить, что некто может что-либо знать.

19. Утверждение: «Я знаю, что это рука» может быть продолжено: «потому что это моя рука, и я на нее смотрю». Разумный человек в этом случае не усомнится, что я знаю, о чем говорю. Так же и идеалист; он скажет, что для устранения практического сомнения этого достаточно, но есть и другое сомнение, таящееся за первым. То, что это иллюзия, надлежит показать иным способом.

20. «Сомневаться в существовании внешнего мира» не означает, к примеру, сомневаться в бытии планеты, чье существование докажут позднейшие наблюдения. Или Мур хочет сказать, что знание о руке отличается от зна-

ния о существовании планеты Сатурн? Иначе было бы возможно указать на открытие планеты Сатурн и сказать сомневающимся, что ее существование доказано, как и, следовательно, бытие внешнего мира.

21. Взгляды Мура сводятся к следующему: понятие «знать» аналогично понятиям «верить», «полагать», «сомневаться», «подтверждать» в том, что утверждение «Я знаю» не может быть ошибочным. И если это так, тогда из этого выражения возможен некий вывод истинности утверждения. И потому часто забывают выражение «я думал, что знаю». Но если последнее неоспоримо, тогда ошибка в утверждении логически невозможна. И всякий, знакомый с правилами языковой игры, должен понимать: утверждение человека, заслуживающего доверия, что он что-то знает, ничего не означает.

22. Было бы замечательно, если бы нам пришлось поверить тому, кто заслуживает доверия и сказал: «Я не могу ошибаться» — или: «Я не ошибаюсь».

23. Если я не знаю, две руки у человека или нет (к примеру, ампутированы они или нет), я поверю его словам, что у него две руки, если он заслуживает доверия. А если он говорит, что знает это, для меня это лишь означает, что он имеет основания быть уверенным и что его руки, таким образом, не скрыты бинтами и шинами и т. д. Моя вера в слова человека, заслуживающего доверия, проистекает из представления о том, что он может удостовериться. Но тот, кто говорит, что физические объекты не существуют, не соответствует такому представлению.

24. Вопрос идеалиста может звучать так: «Разве не вправе я сомневаться в существовании своих рук?»

(И ответом не может быть: «Я знаю, что они существуют».) Но задающий подобный вопрос упускает то обстоятельство, что сомнение в существовании чего-либо действенно лишь в языковой игре. Поэтому сначала мы должны спросить: каково по сути это сомнение? И не пытаться понять его немедленно.

25. Можно ошибаться даже относительно того, что «это рука». Лишь в особых обстоятельствах это невозможно. Даже в счислении можно ошибаться — это невозможно только при особых условиях.

26. Но можно ли понять из правила, что условия логически исключают ошибку в приложении правил счисления?

Как мы используем правило? Не ошибаемся ли мы, в свою очередь, принимая его?

27. Если, однако, кто-то хочет постулировать правило, тогда оно должно содержать уточнение «при нормальных условиях». И мы признаем нормальные условия, но не можем строго их описать. По крайней мере, мы способны лишь описать диапазон анормальных условий.

28. Что значит «выучить правило»? — Вот что.

Что значит «ошибочно его применить»? — Вот что. И мы указываем здесь на нечто неопределяемое.

29. Опыт использования правила также показывает ошибки в его применении.

30. Когда кто-то уверен в чем-то, он говорит: «Да, вычисление правильное», но не выводит этого факта из своих условий достоверности. Он не выводит представления о том, каковы предметы, из своих условий достоверности.

Достоверность как она есть — тон голоса, каким повествуют о том, каковы предметы, а из тона не вывести оправданности сообщения.

31. Суждения, к которым возвращаешься снова и снова, как околдованный, — я бы хотел устранить подобные суждения из философского языка.

32. Дело не в том, что Мур знает о наличии руки; скорее, не следует понимать его так, будто он говорит: «Конечно, я могу ошибаться». Мы должны спросить: каким образом можно совершать такие-то ошибки? — то есть каким образом можно обнаруживать, что это — ошибки?

33. Тем самым мы избавимся от предложений, которые никуда не ведут.

34. Если кого-то учат счету, учат ли его также тому, что он может полагаться на вычисления обучающего? Но эти объяснения должны в конце концов закончиться. Учат ли его также тому, что он может доверять своим чувствам — ведь во многих случаях говорят, что при таких-то и таких-то особых обстоятельствах чувствам нельзя доверять?

Правило и исключение.

35. Но разве нельзя представить, что физические объекты не существуют? Не знаю. И все же выражение «Существуют физические объекты» бессмысленно. Разве оно предполагает эмпирическое суждение?

И эмпирическое ли суждение: «Кажется, что существуют физические объекты»?

36. «*А* есть физический объект» — фрагмент инструкции, которую мы даем лишь тому, кто не понимает ни что значит «*А*», ни что такое «физический объект». То есть это

инструкция относительно использования слов, а «физический объект» — логическое понятие. (Как цвет, количество и т. д.) И потому нельзя составлять такие суждения, как «Существуют физические объекты».

Тем не менее мы встречаем подобные высказывания на каждом шагу.

37. Но будет ли адекватным ответом на скептицизм идеалиста и на утверждения реалиста сообщение, что суждение вида «Существуют физические объекты» бессмысленно? Ибо далеко не все они бессмысленны. Ответ будет, скорее, такой: данное утверждение или его противоположность есть бесплодная попытка выразить то, что не может быть выражено подобным образом. И то, что попытка бесплодна, может быть показано; но это не принципиально. Мы должны понять: то, что сразу представляется нам как выражение некоей трудности или средство ее разрешения, может не быть выражено корректно. Так тот, кто критикует картину, зачастую критикует не то, что требуется, и необходимо исследование, чтобы отыскать реальные слабости.

38. Знание в математике. Здесь нужно напоминать себе о незначимости «внутренних процессов» или «состояний» и спрашивать: «Почему это должно быть важно? Что это значит для меня?» Интересно то, как мы используем математические суждения.

39. То есть как производятся вычисления, при каких условиях вычисление рассматривается как абсолютно надежное, как полностью достоверное.

40. За фразой «Я знаю, что это моя рука» может последовать вопрос: «Откуда вы это знаете?», и ответ на него предполагает, что подобное знание может быть обретено.

И потому вместо фразы «Я знаю, что это моя рука» можно сказать: «Это моя рука» и потом добавить, как об этом узнали.

41. «Я знаю, что чувствую боль»; «Я знаю, что чувствую ее вот тут» — это так же ошибочно, как: «Я знаю, что мне больно». Однако фраза «Я знаю, где вы коснулись моей руки» верна.

42. Можно сказать: «Он верит в это, но это не так», однако не: «Он знает это, но это не так». Проистекает ли это из различия между психическими состояниями веры и знания? Нет. Можно, к примеру, назвать «психическим состоянием» то, что выражается тоном, жестами и т. д. И потому возможно рассуждать о психическом состоянии убеждения, и то же самое верно для знания или ложной веры. Полагать, что различные состояния должны соотноситься со словами «верить» и «знать», все равно что верить, что разные люди соотносятся со словом «я» и именем «Людвиг», поскольку те относятся к разным понятиям.

43. Какого типа суждение: «Мы не могли допустить ошибку в результате $12 \times 12 = 144$»? Это должно быть логическое суждение. Но разве оно сообщает не то же самое, что суждение «$12 \times 12 = 144$»?

44. Если требуется правило, из которого следовало бы, что в вычислении нет ошибки, ответом будет: мы узнаем это не из правила, а через обучение счету.

45. Мы должны познать природу вычислений, обучаясь счету.

46. Но тогда нельзя описать, каким образом мы убеждаемся в достоверности вычислений? О да! И когда мы счи-

таем, никаких правил не возникает. А самое важное вот что: правил не требуется. Всего и так достаточно. Мы вычисляем уже согласно правилу, и этого достаточно.

47. Вот так и вычисляют. Вычисление есть следующее: ему мы, например, обучаемся в школе. Забудем о трансцендентальной достоверности, которая связана с представлением о духе.

48. Однако из множества вычислений некоторые могут быть обозначены как заведомо надежные, а другие — как сомнительные. Является ли это различение логическим?

49. Помните: даже когда вычисление для меня окончательно, оно является лишь решением сугубо конкретной задачи.

50. Когда кто-то говорит: «Я знаю, что ... × ... = ...»? Когда он проверил вычисление.

51. Какого типа суждение: «На что может быть похожа здесь ошибка?»? Оно должно быть логическим суждением. Но логика не используется, потому что тому, о чем она сообщает, не научить высказыванием суждений. Это логическое суждение, поскольку оно описывает понятийную (лингвистическую) ситуацию.

52. Эта ситуация, таким образом, не одинакова для суждений, например: «На таком-то расстоянии от солнца есть планета» и «Вот рука» (подразумевается моя собственная рука). Второе суждение нельзя назвать гипотезой. Однако четкой границы между ними нет.

53. И потому можно допустить, что Мур был прав, если истолковать его рассуждения следующим образом: сужде-

ние, сообщающее о наличии физического объекта, имеет тот же логический статус, что и суждение, которое сообщает о наличии здесь красного пятна.

54. Ибо неверно, что ошибка становится все более значимой по мере того, как мы переходим от планеты к моей руке. Нет, в некоторой точке она перестает быть возможной.

Это вытекает уже из следующего: если бы было не так, тогда было бы допустимо, что мы ошибаемся во всех суждениях относительно физических объектов, что любое суждение о них ошибочно.

55. И возможна ли гипотеза, что все вокруг нас не существует? Разве допускать подобное не то же самое, что предполагать, будто мы ошибаемся во всех своих вычислениях?

56. Когда говорят: «Возможно, эта планета не существует, а явление света проистекает из чего-то другого», отсюда следует, что требуется пример объекта, который не существует. Такого объекта нет — все равно, как если бы он был...

Или должны ли мы полагать, что достоверность есть просто искусственная точка, к которой одни объекты тяготеют более, а другие менее? Нет. Сомнение постепенно утрачивает смысл. Языковая игра состоит именно в этом.

И все описания языковой игры относятся к логике.

57. Не должна ли фраза: «Я знаю, а не просто допускаю, что это моя рука» рассматриваться как грамматическое суждение? Во всяком случае, не временным образом?

Но в таком случае она не похожа на другую: «Я знаю, а не просто допускаю, что вижу красное».

И разве следствие фразы «Существуют физические объекты» не таково: «Как и цвета»?

58. Если «я знаю, что» воспринимать как грамматическое суждение, тогда, разумеется, «я» не может быть важным. И фраза будет означать на деле: «Нет такого явления, как сомнение, в данном случае» или: «Выражение "Я не знаю" не имеет смысла в данном случае». И, конечно, из этого следует, что фраза «я знаю» также бессмысленна.

59. «Я знаю» — логическое прозрение. Лишь реальность нельзя доказать посредством ее самой.

60. Неверно говорить, что «гипотеза» о наличии клочка бумаги может быть подтверждена или опровергнута последующим опытом и что во фразе «Я знаю, что это клочок бумаги» фрагмент «я знаю» относится либо к гипотезе, либо к логическому определению.

61. Значение слова есть разновидность его употребления.

Ведь оно то, что мы узнаем, когда слово внедряется в наш язык.

62. Вот почему существует соответствие между понятиями «правило» и «значение».

63. Если представить факты иначе, нежели они есть, конкретные языковые игры утратят часть своей значимости, а другие наоборот приобретут. И в этом смысле налицо изменение — постепенное — в использовании языкового лексикона.

64. Сравните значение слова с «функцией» должностного лица. А «различные значения» с различными функциями.

65. Когда языковые игры изменяются, происходит перемена понятий, а с понятиями изменяется и значение слов.

---

66. Я делаю утверждения о реальности, утверждения, обладающие разной степенью уверенности. Откуда берутся эти степени уверенности? И какие они имеют последствия?

Мы можем рассматривать, к примеру, достоверность памяти или, скажем, восприятия. Я могу быть уверенным в чем-то, но знаю, что опыт способен убедить меня в ошибке. Я уверен, скажем, в дате некой битвы, но если мне случится встретить иную датировку в солидном историческом труде, я изменю свое мнение, и это не будет означать, что я утратил всякую способность рассуждать.

67. Можно ли вообразить человека, который совершает ошибки там, где ошибок, по нашему мнению, быть не может и на деле никогда не возникает?

Например, он говорит, что живет в таком-то месте и ему столько-то лет, что он из такого-то города, и говорит он с той же уверенностью (выказывает все ее признаки), что и я, но он ошибается.

Каково его отношение к ошибке? Что я должен заключить?

68. Вопрос таков: что тут может сказать логик?

69. Я хотел бы сказать: «Если в этом я ошибаюсь, тогда нет никакой гарантии, что я прав в чем-либо вообще». Но другие обо мне этого не скажут, как и я о других.

70. На протяжении месяцев я жил по адресу *А*, бессчетное число раз читал на табличках название улицы и номер дома, получал несметное количество писем и многажды называл свой адрес разным людям. Если я ошибался, ошибка эта вряд ли менее серьезна, чем если бы я (ошибочно) верил, что пишу по-китайски, а не по-немецки.

71. Если мой друг вообразил бы однажды, что долго прожил в таком-то месте и т. д., я не назвал бы это ошибкой, скорее, душевным расстройством, быть может, временным.

72. Не всякое ложное убеждение подобного рода есть ошибка.

73. Но в чем разница между ошибкой и душевным расстройством? И есть ли разница между восприятием чего-либо как ошибки или как душевного расстройства?

74. Можем ли мы сказать: ошибка имеет не только причину, но и основание? То есть грубо: когда кто-то совершает ошибку, она связана с тем, что ему известно?

75. Правильно ли так: если я просто неверно считаю, что передо мной стоит стол, это может быть ошибкой; но если я неверно считаю, что видел этот стол или похожий на него на протяжении последних месяцев и даже сиживал за ним, это уже не ошибка?

76. Естественно, моей целью должны стать положения, которые следуют из сказанного, но пока не имеют значимости.

77. Быть может, нужно перемножить дважды, чтобы убедиться в правильности ответа, или поручить вычисления кому-то другому. Но стану ли я перемножать двадцать раз подряд или поручать вычисления двадцати различным людям? И это не будет небрежностью! Ведь возрастет ли достоверность от двадцатикратной проверки?

78. И есть ли причины, по которым она не возрастет?

79. Что я мужчина, а не женщина, может быть доказано опытным путем, но если я назову себя женщиной и попытаюсь оправдать эту ошибку, сказав, что не проверял этого утверждения, объяснение будет неприемлемым.

80. Истинность моих высказываний есть испытание моего понимания.

81. Иначе говоря: если я произношу ложные высказывания, становится неясным, понимаю ли я их.

82. Что считается корректной проверкой высказывания, относится к области логики. Оно принадлежит описанию языковой игры.

83. Истинность конкретных эмпирических суждений принадлежит нашему каркасу смысловых связей.

84. Мур говорит, что знает, что планета существовала задолго до его рождения. Выраженное таким образом, это мнение воспринимается как личное, даже если оно дополняет суждение о физическом мире. С философской точки зрения не любопытно, знает ли Мур то или это, однако любопытно, что это может быть узнано неким образом. Если бы Мур сообщил, что ему известно расстояние между некими звездами, мы могли бы заключить, что он про-

вел специфические исследования, и захотели бы узнать, какие именно. Но Мур выбрал случай, когда все мы знаем то же, что и он сам, не имея возможности определить, каким образом. Я полагаю, например, что знаю столько же об этом (о возрасте планеты), сколько знает Мур, и если он знает, что все именно так, как он говорит, я тоже это знаю и т. д. Ведь он пришел к этому заключению, следуя некой линии рассуждений, каковая мне также известна, но каковой лично я не следовал.

85. И что значит, что кто-то что-то знает? Знает историю, к примеру? Он должен знать, что означает утверждение, что планета существует уже столько-то лет. Далеко не всякий образованный человек может это знать. Мы видим людей, которые строят или ломают дома, и задаем вопрос: «Как долго простоял тут этот дом?» Но как приходит мысль спросить то же самое, к примеру, о горе? И всем ли людям свойственно представление о планете как о физическом теле, которое некогда возникло и, возможно, однажды исчезнет? Почему я не могу думать, что Земля плоская и простирается без конца во все стороны (в том числе в глубину)? В этом случае могут сказать: «Я знаю, что эта гора существовала задолго до моего рождения». А что, если появится человек, который этому не поверит?

86. Можно ли заменить муровское «я знаю» выражением «я непоколебимо убежден»?

87. Нельзя ли использовать утвердительное предложение, способное выступать в качестве гипотезы, и как основание для исследований и действий? То есть нельзя ли изолировать сомнения, пусть и не по любому очевидному правилу? Просто допустим, что это трюизм, никем не оспариваемый, даже не сформулированный.

88. Может быть, например, что все вопросы в нашем случае ставятся так, чтобы устранить сомнения, когда те возникают, из конкретных суждений. Сомнения лежат вне пути, которым следуют вопросы.

89. Можно сказать: «Все говорит за то, и ничто против, что планета существует очень давно...»

И все же не могу ли я считать иначе? Вопрос таков: каковы практические следствия этой веры? Допустим, кто-то скажет: «Дело не в этом. Вера существует, не важно, имеются у нее практические следствия или нет». И думаешь: все та же убежденность человеческого рассудка.

90. «Я знаю» обладает примитивным значением, аналогичным и родственным «я вижу» («wissen», «videre»*). «Я знаю, что он был в комнате, но его не было в комнате» значит: «Я видел его в комнате, но его там не было». Выражение «я знаю» должно выражать отношение, не между мной и смыслом суждения (как «я верю»), но между мной и фактом. Тем самым факт помещается в мое сознание. (Это причина того, почему говорят, что происходящее во внешнем мире нам неведомо, что оно воспринимается лишь в области так называемых внечувственных данных.) Это позволит представить знание как восприятие внешнего события посредством зримого излучения, которое проецирует его в глаз и в мозг. Но тогда сразу возникает вопрос, можно ли верить этой проекции. И картина также показывает нам, как воображение представляет знание, но не то, что лежит в основании этого представления.

91. Если Мур говорит, что знает, что планета существовала и т. д., большинство допустит, что так и было, и поверит, что он в этом убежден. Но располагает ли он надеж-

---

* Знать (*нем.*), видеть (*лат.*).

ными основаниями для подобного суждения? Ведь если нет, тогда он не знает этого наверняка (Рассел).

92. Однако мы можем спросить: имеет ли кто-либо надежные основания верить, что планета существует лишь краткий промежуток времени, скажем, с его собственного рождения? — Допустим, ему всегда это говорили, так возникнут ли у него основания в этом сомневаться?

Люди верят, что могут вызывать дождь; почему бы и короля не воспитать в убеждении, что мир начался с него? И если Мур и этот король встретятся и затеют беседу, сможет ли Мур доказать свою точку зрения? Я не говорю, что Мур не сможет переубедить короля, но это будет обращение особого рода: королю придется взглянуть на мир совершенно иначе.

Помните, человек порой убеждается в правильности какого-либо мнения из-за простоты или симметричности последнего, то есть из-за того, что его самого привлекает. Часто можно услышать: «Вот так и должно быть».

93. Суждения, представляющие то, что Мур «знает», относятся к тому виду, для которого сложно вообразить, почему кто-либо должен считать иначе. Например, суждение, что Мур провел всю жизнь близко к поверхности планеты. Снова я скажу о себе вместо Мура. Что вынудит меня поверить в противоположное? Либо память, либо чужие слова. Все, что я видел и слышал, убеждает меня, что ни один человек не отдалялся от поверхности планеты. Ничто в моей картине мира не говорит в пользу обратного.

94. Но картина мира возникла у меня не благодаря убежденности в ее правильности; и не потому, что я удовлетворен ее правильностью. Нет, она унаследована мной, и на ее основании я провожу различие между истиной и ложью.

95. Суждение, описывающее картину мира, может быть частью чего-то наподобие мифологии. И роль таких суждений сходна с ролью правил в игре; игре возможно научиться на практике, не изучая изложенных правил.

96. Можно представить, что некоторые суждения, в форме эмпирических, используются в качестве каналов связи для тех эмпирических суждений, которые являются не устоявшимися, но текучими; это соотношение меняется со временем, когда текучие суждения затвердевают, а застывшие становятся текучими.

97. Мифология может вернуться к состоянию бесформенности, русло реки мыслей может измениться. Но я провожу различие между движением воды в русле и смещением самого русла, пусть между ними и нет четкой границы.

98. Но если кто-то скажет: «Значит, логика — тоже эмпирическая наука», он ошибется. И все же это верно: одно и то же суждение можно рассматривать и как нечто, поверяемое опытом, и как правило поверки.

99. И берег реки состоит частично из скальной породы, едва ли подверженной изменениям, а частично из песка, который то тут, то там, а то вообще исчезает.

100. Истины, известные, по его словам, Муру, таковы, что они, грубо говоря, известны всем, если известны ему.

101. К таким суждениям, например, относится следующее: «Мое тело никогда не исчезает и не появляется снова».

102. Не могу ли я верить, что однажды, сам того не ведая, быть может, в бессознательном состоянии, был похи-

щен и увезен далеко от планеты; и что другие это знают, но мне не сообщили? Впрочем, это не будет соответствовать остальным моим убеждениям. Не то чтобы я разрушил систему своих убеждений. Но все же мои убеждения образуют систему, структуру.

103. И если я скажу: «Мое непоколебимое убеждение в том, что», это будет означать не что я пришел к данному убеждению, не следуя сознательно какой-либо линии рассуждений, но что оно укоренено в моих вопросах и ответах столь глубоко, что я не могу до него дотянуться.

104. К примеру, я убежден, что солнце — вовсе не дыра в небесном своде.

105. Все проверки, все подтверждения и опровержения гипотез имеют место внутри системы. И эта система никак не является более или менее произвольной и сомнительной отправной точкой наших доводов; нет, она принадлежит сути того, что мы называем доказательствами. Система не столько отправная точка, сколько область существования доказательств.

106. Допустим, некий взрослый говорит ребенку, что был на Луне. Ребенок пересказывает это мне, и я говорю, что это шутка, что тот человек не был на Луне — никто не был на Луне, Луна очень далеко, на нее невозможно взобраться или до нее долететь. Если ребенок настаивает, говорит, например, что есть способ добраться, мне неизвестный, и т. д., что я могу ответить? И что я могу ответить взрослым членам некоего племени, которые порой отправляются на Луну (так они толкуют свои сновидения) и допускают, что туда на самом деле невозможно попасть просто так? Однако ребенок не будет цепляться за подобную историю, его быстро можно переубедить.

107. Разве это не сходно с тем, как ребенка учат верить в Бога — или в то, что Бога нет — и приводят основания как для одного, так и для другого взгляда?

108. «Значит, объективной истины нет? Истинно или ложно, что некто побывал на Луне?» Если мы мыслим внутри нашей системы, достоверно, что никто никогда не бывал на Луне. Не просто потому, что нам об этом не сообщали разумные люди, но потому, что верить в это нам воспрещает наша система физики. Ибо иначе нужно отвечать на вопросы: «Как он преодолел силу притяжения?», «Как он дышал без атмосферы?» и на тысячу других, на которые нет ответов. Но допустим, что вместо множества ответов нам дали всего один: «Мы не знаем, как попасть на Луну, но те, кто туда попадает, сразу понимают, где оказались; и даже вам всего не объяснить». Мы ощутим колоссальную интеллектуальную разницу с тем, кто скажет такое.

109. «Эмпирическое суждение можно проверить» (говорим мы). Каким образом? Посредством чего?

110. Что считать проверкой? «Будет ли проверка корректной? Если да, не следует ли признать ее таковой в логике?» Как если бы поиск оснований никогда не заканчивался. Но в итоге нас ожидает не суждение без оснований, а безосновательный образ действий.

111. «Я знаю, что никогда не бывал на Луне». Звучит иначе, нежели при обстоятельствах, при которых многие люди могли бы побывать на Луне, причем некоторые — неосознанно.

В этом случае можно подыскать основания знания. Не схоже ли это с отношениями между общим правилом умножения и конкретными вычислениями?

Я хочу сказать: для меня то, что я не был на Луне, столь же неоспоримо, как любые основания, какие я могу привести.

112. И разве не это хочет сказать Мур, когда говорит, что все это знает? Но является ли его знание тем, что мы обсуждаем, или лишь некоторые из его суждений могут показаться нам обоснованными?

113. Когда учат математике, не начинают с утверждения, что знают, что a + b = b + a.

114. Если вы не уверены в каком-либо факте, вы не можете быть уверены и в значении ваших слов.

115. Если подвергаешь сомнению все, не уйдешь дальше этого сомнения. Игра в сомнение сама предполагает наличие достоверности.

116. Вместо «я знаю» не мог ли Мур сказать: «Для меня истина, что...»? И далее: «Для меня и многих других истина, что...»?

117. Почему для меня невозможно усомниться в том, что я не был на Луне? И как я могу в этом усомниться?

Прежде всего, предположение, что я был там, кажется мне фантазией. Из него ничего не следует, оно ничего не объясняет. Оно не связано ни с чем в моей жизни.

Когда я говорю: «Ничто не за и все против», отсюда следует существование принципов «за» и «против». То есть я должен уметь говорить «за» и «против».

118. Будет ли правильно сказать: пока никто не вскрывал мой череп, чтобы убедиться в наличии мозга внутри; но все говорит за его наличие и ничто — против?

119. Но также можно сказать: все говорит за и ничто — против того, что стол существует, хотя никто его не видит. Что же свидетельствует за это?

120. Но если кто-нибудь усомнится, как его сомнения проявятся на практике? И не оставим ли мы его предаваться сомнениям, поскольку они не имеют значения?

121. Можно ли сказать: «Где нет сомнений, там нет знания»?

122. Не нужны ли основания для сомнений?

123. Куда ни гляжу, я не нахожу оснований сомневаться в том, что...

124. Хочу сказать: «Мы используем суждения как принципы суждений».

125. Если слепец спросит меня: «У вас две руки?», я не могу в ответ предложить ему взглянуть. Если я испытываю сомнения, тогда я не знаю, могу ли я доверять собственным глазам. Почему я не должен проверять зрение, посмотрев, на самом ли деле у меня две руки? И что будет проверяться в этом случае? (Кто решает, чему верить?)

И что значит утверждать, что что-то неоспоримо?

126. Я не более уверен в значении слов, чем в истинности суждений. Могу ли я сомневаться, что этот цвет называется «синим»?

(Мои) сомнения образуют систему.

127. И как мне узнать, что кто-то сомневается? Откуда мне знать, что он использует слова «я сомневаюсь» подобно мне?

128. С детства я учился рассуждать таким образом. Это рассуждение.

129. Вот так я научился рассуждать; я узнал, что это и есть рассуждение.

130. Но разве не опыт учит нас рассуждать, то есть учит, что корректно судить так-то? И как же он нас этому учит? Мы можем выводить умение из опыта, однако опыт не побуждает нас что-либо из него выводить. Если он служит основанием наших рассуждений, а не просто причиной, у нас нет оснований воспринимать его как основание.

131. Нет, опыт не является основанием в игре в суждения. И выдающимся результатом тоже.

132. Люди рассуждают, что король способен вызывать дождь; мы говорим, что это противоречит опыту. Сегодня рассуждают, что аэропланы, радио и пр. служат сближению людей и распространению культуры.

133. При обычных обстоятельствах я удовлетворяюсь тем, что вижу, что у меня две руки. Почему?

Неужели опыт показывает, что это не нужно? Или (снова): неужели мы каким-то образом узнали всеобщий закон индукции и доверяем ему? Но почему сначала нужно узнать некий универсальный закон, а не закон конкретный?

134. Положив книгу в ящик, я заключаю, что она там, пока... «Опыт всегда доказывает, что я прав. Нет подтвержденных случаев, чтобы книга (попросту) исчезала». Часто случается, что книгу не найти, хотя мы уверены, что она была в ящике. Однако опыт учит, что книга вовсе никуда не исчезает.

(Например, не испаряется без следа.) Но разве этот опыт с книгой и пр. ведет нас к допущению, что книга не исчезла? Что ж, примем, что при некоторых новых условиях мы выяснили, что книга на самом деле исчезла. Не должны ли мы тогда изменить свое допущение? Можно ли лгать, исходя из опыта в нашей системе допущений?

135. Но разве мы не просто следуем принципу, что то, что происходило всегда, произойдет снова (или случится что-то наподобие)? Что значит следовать этому принципу? На самом ли деле мы применяем его в рассуждениях? Или это просто закон природы, которому следует наш вывод? Последнее возможно. Это вовсе не часть наших рассуждений.

136. Когда Мур говорит, что знает то-то и то-то, он на самом деле перечисляет множество эмпирических суждений, которые подтверждаются без дополнительной проверки; суждений, которые играют особую логическую роль в системе эмпирических суждений.

137. Даже если самые заслуживающие доверия среди людей станут уверять меня, что знают, что дела обстоят так-то, само по себе это не убедит меня, что они действительно знают. Они знают лишь то, чему верят. Поэтому утверждение Мура, что он знает, нас не интересует. Суждения, однако, которые Мур приводит в качестве примеров известных истин, на самом деле интересны. Не потому, что всем известна их истинность, и не потому, что все их знают, а потому, что они играют одинаковую роль в системе эмпирических суждений.

138. Мы не приходим, к примеру, ни к одному из них в итоге исследований.

Бывают, например, исторические исследования и исследования формы и возраста планеты, но не такие, которые выясняли бы, существовала ли планета последние сто лет. Конечно, многие из нас располагают сведениями об этом периоде времени от своих родителей, но не могли ли те ошибаться? «Ерунда! — скажут одни. — Как все люди могли ошибаться?» Но разве это довод? Разве это не просто отрицание идеи? И, возможно, определение понятия? Если я рассуждаю о возможной ошибке, это меняет роль «ошибки» и «истины» в нашей жизни.

139. Не только правила, но и примеры необходимы для установления опыта. Наши правила оставляют пустоты, а опыт должен говорить сам за себя.

140. Мы не учимся делать эмпирические суждения посредством изучения правил; нас учат рассуждать и устанавливать связи. И тогда совокупность рассуждений становится для нас возможной.

141. Когда мы впервые во что-то верим, верим мы не в отдельное суждение, а в систему суждений. (Свет постепенно выхватывает из тьмы целое.)

142. Не единственная аксиома поражает своей очевидностью, а система с последствиями и предпосылками, взаимно поддерживающими друг друга.

143. Мне говорят, например, что кто-то взошел на эту гору много лет назад. Всегда ли я знаю, можно ли доверять рассказчику и существовала ли гора много лет назад? Ребенок узнает, что есть заслуживающие и не заслуживающие доверия рассказчики, намного позже, чем узнает факты. Он вовсе не пытается узнать, существовала ли тогда

гора; вопрос о ней вообще не возникает. Ребенок, так сказать, проглатывает его вместе с тем, что узнает.

144. Ребенок учится верить множеству суждений. То есть учится вести себя согласно этой вере. Шаг за шагом формируется система убеждений, и в этой системе некоторые позиции не подлежат оспариванию, а некоторые подвержены сомнениям. То, что не оспаривается, таково не потому, что очевидно или слишком убедительно, но потому, что таковым его делает окружение.

145. Хочется сказать: «Весь мой опыт показывает, что это так». Но каким образом? Ведь суждение, к которому относится опыт, само принадлежит к сугубой его интерпретации.

«То, что я воспринимаю это суждение как безусловно истинное, также характеризует мою интерпретацию опыта».

146. Мы рисуем себе планету как шар, плавающий в космической пустоте и не меняющийся существенно на протяжении веков. Я говорю «рисуем картину», и эта картина помогает рассуждать в различных ситуациях.

Я могу вычислить размеры моста, порой установить, что иногда мост полезнее парома, и т. д., но где-то нужно начинать с допущения или с решения.

147. Картина планеты как шара — хорошая картина, она доказывает сама себя. Также она проста — короче говоря, мы работаем с ней, не подвергая ее сомнению.

148. Почему я не удостоверяюсь в том, что мои две ноги при мне, когда хочу встать со стула? Нет никаких «почему». Просто не удостоверяюсь. Так я действую.

149. Мои рассуждения характеризуют способ, каким я рассуждаю, характеризуют природу рассуждения.

150. Как кто-то судит, где его правая, а где левая рука? Откуда мне знать, что мои рассуждения согласуются с рассуждениями другого? Откуда я знаю, что вот этот цвет — синий? Существует ли «почему»? Не должен ли я начать доверять? То есть: где-то не следует начинать с сомнений, и это не спешка, а вполне объяснимый подход, часть рассуждения.

151. Хочется сказать: Мур не знает того, что, как он утверждает, знает, но для него него это неоспоримо, как и для меня; восприятие этого как истины есть часть нашего метода сомнений и исследований.

152. Я не узнаю суждения, которые для меня истинны. Я обнаруживаю их позднее, подобно оси, вокруг которой вращается тело. Ось не фиксирована в том смысле, что не закреплена неподвижно, но движение вокруг нее определяет ее неподвижность.

153. Никто не учил меня, что мои руки не исчезают, когда я на них не смотрю. Нельзя сказать, что я верю истинности этого суждения в своих утверждениях (что последние основаны на этом), поскольку суждение обретает смысл лишь из дальнейших утверждений.

154. Бывают случаи, в которых, если кто-то выражает сомнение там, где мы не сомневаемся, мы не можем очевидно истолковать его действия как признаки сомнений.

То есть если мы истолкуем его признаки сомнений как таковые, он может выражать их лишь в конкретных случаях, но не всегда.

155. В сугубых условиях человек не может ошибаться. («Может» здесь используется логически, и суждение не означает, что человек не может высказать ложь при подобных условиях.) Если Мур выскажет противоположное тому, что полагает достоверным, мы не должны просто разделить его точку зрения; мы должны принять его как душевнобольного.

156. Чтобы совершить ошибку, человек должен рассуждать согласно с человечеством.

157. Допустим, человек не помнит, всегда ли на двух руках у него было по пять пальцев. Поймем ли мы его? Можем ли мы быть уверены, что поняли?

158. Могу ли я совершить ошибку, например, думая, что слова, из которых составлено это предложение, суть английские слова, значение которых мне известно?

159. Детьми мы узнаем факты, например что у всякого человека есть мозг, и верим этим фактам. Я верю, что есть остров Австралия, такой-то формы и так далее; я верю, что у меня были прабабушка и прадед, что люди, называющие себя моими родителями, на самом деле мои родители и т. д. Эта вера может никогда не найти выражения; даже мысль о ней может не возникнуть.

160. Ребенок учится, веря взрослому. Сомнение приходит вслед за верой.

161. Я узнал очень многое и принял это как данность, а потом нашел, что что-то подтверждается, а что-то опровергается моим личным опытом.

162. В целом я принимаю за истину то, что написано в учебниках — к примеру, в учебнике географии. Почему? Я говорю: все эти факты были многократно подтверждены. Но откуда я это знаю? Какие у меня доказательства? Ведь при мне есть лишь картина мира.

Истинна она или ложна? Прежде всего она — результат моих изысканий и утверждений.

Суждения, ее описывающие, не одинаково подлежат проверке.

163. Проверял ли кто-нибудь, что стол существует, когда на него никто не смотрит?

Мы проверяем биографию Наполеона, но не то предположение, что все рассказы о нем основаны на обмане чувств, фальсификациях и пр. Ибо когда проверяем что-либо, мы всегда предполагаем нечто, не проверявшееся прежде. Теперь я скажу, что эксперимент, которым я собираюсь подтвердить истинность суждения, предполагает истинность этого суждения; что прибор, которым я пользуюсь, присутствует в эксперименте.

164. Разве проверка не заканчивается?

165. Один ребенок может сказать другому: «Я знаю, что Земле уже сотни лет», и это будет значить: «я это узнал».

166. Сложность в том, чтобы осознать безосновательность нашей веры.

167. Ясно, что наши эмпирические суждения не обладают одинаковым статусом, поскольку можно взять такое предложение и превратить его из эмпирического в норму описания.

Подумаем о химических исследованиях. Лавуазье[3] проводит эксперименты с веществами в лаборатории и заклю-

чает, что то-то и то-то имеет место, когда что-то горит. Он не говорит, что при иных обстоятельствах могло быть иначе. Он держится конкретной картины мира — не той, что сам изобрел, но той, что узнал в детстве.

Я говорю «картина мира», а не «гипотеза», потому что это фактическая основа его исследований, которая посему остается незамеченной.

168. Но теперь: какую роль играет предположение, что вещество *A* всегда взаимодействует с веществом *B* схожим образом при схожих условиях? Есть ли это часть описания вещества?

169. Можно решить, что имеются суждения, постулирующие возможность химии. Они должны быть суждениями естествознания. Ибо чем они могут быть подкреплены, если не опытом?

170. Я верю, что люди определенным образом передают мне нечто. Также я верю в географические, химические, исторические и прочие факты.

Так я изучаю науку. Конечно, обучение основано на вере.

Если вы узнаете, что Монблан выше 4000 метров, когда взглянете на карту, то вы скажете, что знаете это.

И можно ли сказать: мы доверяем потому, что доказательства налицо?

171. Главное основание для Мура утверждать, что он не был на Луне, состоит в том, что никто не был на Луне и не будет; и этому мы верим на основании того, что узнали.

172. Быть может, скажут: «Должен быть базовый принцип, на котором мы строим доверие», но возможен ли та-

кой принцип? Или достаточно закона природы «принимать на веру»?

173. В моей ли власти чему-то верить? Или верить непоколебимо?

Я верю, что там стоит стул. Не ошибаюсь ли я? Могу ли я верить, что ошибаюсь? Или же могу задаться этим вопросом? И не могу ли я держаться за свою веру, что бы ни узнал впоследствии? На чем тогда основана моя вера?

174. Я действую в полной уверенности. Но эта уверенность — сугубо личная.

175. «Я знаю это» — говорю я кому-то; и это — оправдание. Но в нем кроется лишь моя вера.

176. Вместо «я знаю» можно в некоторых случаях сказать: «Так и есть, положитесь на это». В иных же случаях: «Я узнал это много лет назад» или: «Я уверен, что так и есть».

177. Что знаю, тому я верю.

178. Неверное применение Муром фразы «я знаю, что» объясняется тем, что он использует эту фразу столь же бесспорно, как «Мне больно». А поскольку из «я знаю» следует «так и есть», последнее также не подвергается сомнению.

179. Правильнее сказать: «я верю» обладает субъективной ценностью, а «я знаю» — нет.

180. Или снова: «я верю» — выражение, а «я знаю» — нет.

181. Допустим, Мур сказал: «я клянусь» вместо «я знаю».

182. Наиболее примитивная идея в том, что у Земли нет начала. Ни один ребенок не задумается спросить, сколько существует наша планета, поскольку все перемены с ней происходят на ней. Если то, что называют Землей, действительно некогда возникло — это достаточно трудно вообразить, — тогда логично отнести это начало в глубь времен.

183. «Верно, что после битвы при Аустерлице Наполеон...» В этом случае также достоверно, что Земля в ту пору существовала.

184. «Верно, что мы не прибыли на эту планету с какой-нибудь другой сто лет назад». Это так же верно, как текущее положение вещей.

185. Мне покажется смехотворным сомневаться в существовании Наполеона; но если кто-либо усомнится в существовании Земли 150 лет назад, я, возможно, прислушаюсь к нему, ибо он ставит под сомнение всю систему доказательств. И мне не кажется, что система более достоверна, чем достоверность внутри нее.

186. «Я могу предположить, что Наполеона никогда не было, что его выдумали, но не что Земли не существовало 150 лет назад».

187. «Так вы знаете, что Земля существовала?» — «Конечно. Я знаю это. Я узнал это от того, кто знает наверняка».

188. Тот, кто сомневается в существовании Земли, для меня словно оспаривает всю совокупность исторических

свидетельств. И я не могу сказать, что последняя безусловно корректна.

189. В некоторой точке следует перейти от объяснения к простому описанию.

190. Что мы называем историческими свидетельствами, указывает на существование Земли задолго до моего рождения; обратная гипотеза ничем не подкреплена.

191. Что ж, если все за гипотезу и ничто — против нее, значит, она истинна? Можно определить ее как таковую. Но согласуется ли она с реальностью, с фактами? Этим вопросом вы загоняете себя в порочный круг.

192. Наверняка есть обоснование; но оно конечно.

---

193. Что это значит: истинность суждения достоверна?

194. Словом «достоверна» мы выражаем полную убежденность, полное отсутствие сомнений и тем самым стремимся убедить других. Это субъективная достоверность.

Но когда достоверно нечто объективно? Когда ошибка невозможна. Что это за возможность? Не должна ли ошибка исключаться логически?

195. Если я верю, что сижу в комнате, хотя меня там нет, обо мне нельзя сказать, что я совершаю ошибку. В чем же принципиальная разница между этим случаем и ошибкой?

196. Твердое свидетельство — то, что мы принимаем за данность, свидетельство, на основании которого мы действуем уверенно, без тени сомнения.

То, что мы называем «ошибкой», исполняет особую роль в наших языковых играх, как и то, что мы воспринимаем как достоверное свидетельство.

197. Бессмысленно говорить, что мы воспринимаем нечто как достоверное свидетельство, поскольку оно достоверно истинно.

198. Скорее, мы сначала должны определить роль доводов за и против суждения.

199. Причина, по которой использование выражения «истинно или ложно» ведет к некоторой путанице, в том, что оно схоже с выражением «это согласуется или не согласуется с фактами», и важно то, что значит здесь слово «согласуется».

200. В самом деле, «Суждение истинно или ложно» значит лишь, что должно быть возможно высказываться за или против него. Но отсюда не следует, каковы основания для подобных высказываний.

201. Допустим, спрашивают: «Вправе ли мы полагаться на свидетельства памяти (или органов чувств), как полагаемся сейчас?»

202. Достоверные суждения Мура почти декларируют, что мы вправе полагаться на такие доказательства.

203. (Все, что мы трактуем как доказательства, указывает, что Земля существовала задолго до моего рождения. Обратная гипотеза ничем не подтверждается.

Если все говорит за гипотезу и ничто — против, является ли она объективно достоверной? Можно сказать и так.

Но насколько необходимо она согласуется с миром фактов? В лучшем случае она показывает, что значит «согласовываться». Нам трудно представить ее ложной, как и найти ей применение.)

Что заключает в себе это согласование, если не факт, что доказательство в наших языковых играх подтверждает суждение («Логико-философский трактат»)?

204. Будем учитывать, впрочем, что основания для свидетельств конечны; но итог вовсе не в том, что достоверные суждения воспринимаются нами как истинные, то есть не в созерцании, а в действии, лежащем в основе нашей языковой игры.

205. Если истинно то, что обоснованно, тогда основание не может быть истинным и не является ложным.

206. Если спросят: «Истинно ли это?», мы можем ответить «да»; а если потребуют оснований, мы можем сказать: «Оснований привести не можем, но, узнав больше, вы начнете думать так же».

А если этого не произойдет, значит, наш собеседник не изучал, к примеру, историю.

207. «Странное совпадение: у всякого, кому вскрывают череп, находят мозг».

208. Говорю по телефону с Нью-Йорком. Мой друг сообщает, что на молодых деревцах появились почки такой-то формы. Я уверен, что его деревца — это... Уверен ли я также, что Земля существует?

209. Существование Земли есть скорее часть полной картины, которая формирует для меня начала веры.

210. Укрепил ли телефонный звонок в Нью-Йорк мое убеждение в том, что Земля существует?

Многое кажется твердо установленным, и оно выпало из основного потока; как будто отведено в боковую трубу.

211. Оно придает нашему взгляду на мир и нашим изысканиям форму. Быть может, некогда это обсуждали, но также возможно, что на протяжении эпох оно принадлежало строительным лесам наших мыслей. (Всякий человек есть его родители.)

212. При определенных условиях, к примеру, мы трактуем вычисление как удовлетворительно точное. Что дает нам на это право? Опыт? Разве не может он нас обманывать? Мы должны остановиться в оправданиях, и останется суждение о том, каким образом мы вычисляем.

213. Наши «эмпирические суждения» не образуют гомогенную массу.

214. Что мешает мне предположить, что этот стол исчезает или меняет форму или цвет, когда на него никто не смотрит, но возвращается к прежнему виду, когда кто-то обращает на него внимание? «Кто способен предположить такое!» — хочется воскликнуть.

215. Здесь мы видим, что идея «согласования с реальностью» не имеет ясного применения.

216. Суждение «Записано».

217. Если некто предполагает, что все наши вычисления недостоверны и мы не можем положиться ни на одно из них (оправдываясь тем, что ошибки всегда возможны),

быть может, нам следует назвать его безумцем. Но можем ли мы сказать, что он ошибается? Или он просто реагирует иначе, нежели все? Мы полагаемся на вычисления, он — нет; мы уверены, он — нет.

218. Могу ли я на миг поверить, что был в стратосфере? Нет. Значит, я знаю обратное, как Мур?

219. Для меня как разумного человека в этом нет и тени сомнения. Вот так.

220. Разумный человек не испытывает достоверных сомнений.

221. Могу ли я сомневаться произвольно?

222. Я не могу сомневаться в том, что никогда, возможно, не был в стратосфере. Но знаю ли я это? Истинно ли это суждение?

223. Быть может, я безумен и не сомневаюсь в том, в чем обязан сомневаться?

224. «Я знаю, этого никогда не было, ведь если бы было, я бы запомнил».

Но если допустить, что это все же случилось, значит, причина именно в том, что вы забыли. И откуда вам знать, что вы не забывали? Разве что из предшествующего опыта?

225. То, чего я держусь, есть не суждение, а комплекс суждений.

226. Могу ли я предположить всерьез, что когда-то был на Луне?

227. «Такое вряд ли возможно забыть!»

228. В подобных обстоятельствах люди не говорят: «Наверное, мы забыли» и т. п., скорее, они допускают, что...

229. Наша речь обретает значение из сопутствующих действий.

230. Мы спрашиваем себя: как поступить с высказыванием «я знаю»? Здесь мы имеем дело не с психическими процессами или состояниями.

И нужно решить, является нечто знанием или нет.

231. Если кто-то сомневается, что Земля существовала сто лет назад, я этого не понимаю по следующей причине: я не знаю, что такой человек считает доказательством, а что — нет.

232. «Мы можем усомниться в каждом из фактов по отдельности, но нельзя сомневаться во всем сразу».

Не правильнее ли сказать: «Мы в них не сомневаемся».

Наше отсутствие сомнения в совокупности фактов — лишь манера рассуждения, следовательно, манера действия.

233. Если ребенок спрашивает, существовала ли Земля до моего рождения, мне следует отвечать, что Земля не возникла с моим рождением, что она существует давным-давно. И следует при этом испытывать такое чувство, будто пошутил.

Скорее как если бы ребенок спросил, выше ли такая-то гора высокого дома, который он видел. Отвечая на вопрос, я должен передать картину мира тому, кто этот вопрос задал.

Если я отвечу на вопрос уверенно, что наделяет меня этой уверенностью?

234. Я верю, что у меня были предки, как и у всех людей. Я верю, что существуют разные города, верю, в целом, в основные сведения по географии и истории. Я верю, что Земля есть физическое тело, по поверхности которого мы движемся, и что оно способно внезапно исчезнуть не более, чем любое другое твердое тело: этот стол, этот дом, это дерево и т. д. Если бы мне захотелось усомниться в существовании Земли задолго до моего рождения, я был бы вынужден усомниться в очень и очень многом, что для меня является неоспоримым.

235. И то, что является для меня неоспоримым, не основывается на моей глупости или доверчивости.

236. Если кто-то скажет: «Земля не была давно...», значит ли это, что он сомневается? Откуда мне знать?

Будет ли это тем, что называют научным познанием? Или же познанием мистическим? Есть ли некая абсолютная необходимость противоречить историческим фактам? Или даже географическим?

237. Если я скажу: «Час назад этот стол не существовал», вероятно, я попытаюсь сообщить, что он сделан недавно.

Если я скажу: «Этой горы тогда не было», вероятно, я буду иметь в виду, что она сформировалась позднее — например, в результате извержения вулкана.

Если я скажу: «Этой горы не было полчаса назад», в этой фразе странным будет то, что совершенно непонятен ее смысл. Например, сообщаю ли я нечто неверное, но являющееся научным фактом? Возможно, вы полагаете, что фраза насчет того, что горы не было какое-то время назад, совершенно ясна, вне зависимости от контекста. Но, допустим, кто-то скажет: «Горы не было минуту назад, зато

была в точности на нее похожая». Лишь принятый контекст позволяет проявиться смыслу.

238. Потому я могу расспросить того, кто утверждает, что Земля не существовала до его рождения, чтобы узнать, какие из моих убеждений он опровергает. И может выясниться, что он опровергает мои фундаментальные убеждения, я же при том вынужден с этим смириться.

Аналогично тому как если бы он сказал, что побывал на Луне.

239. Я верю, что у всякого человека два родителя, но католики верят, что у Иисуса была только мать. А другие люди могут верить, что человеческие существа появляются на свет без родителей, и яростно отвергать обратное. Католики также верят, что при определенных условиях облатки полностью меняют свою природу, хотя все свидетельства доказывают обратное. И если Мур говорит: «Я знаю, что это вино, а не кровь», католики с ним не согласны.

240. На чем основана вера в то, что у всякого человека есть родители? На опыте. И как можно основывать столь твердое убеждение на опыте? Что ж, оно зиждется не только на факте, что я знаю родителей других, но и на том, что я выяснил относительно сексуальной жизни людей, их анатомии и психологии, а также на том, что я знаю и видел у животных. Но является ли это доказательством?

241. Не гипотеза ли это, каковая, по моему мнению, подтверждается снова и снова?

242. Не должны ли мы постоянно повторять: «Я верю этому определенно?»

243. Кто-то говорит: «Я знаю», когда располагает убедительными основаниями. «Я знаю» относится к возможности демонстрации истины. Знает ли кто-то что-либо, становится ясно, когда известно, что он в этом убежден.

Но что, если он верит в нечто, основаниями чего служат всего-навсего его убеждения? Тогда он не сможет сказать, что знает то, во что верит.

244. Если кто-то говорит: «У меня есть тело», его можно спросить: «Кто же говорит вашими устами?»

245. Кому некто сообщает, что что-то знает? Себе или кому-то еще. Если он говорит себе, то как отличить это от утверждения, что он уверен: дела обстоят так-то? Невозможно что-либо знать с субъективной уверенностью. Достоверность субъективна, но этого никак не скажешь о знании. И если я говорю: «Я знаю, что у меня две руки», и это не призвано выражать лишь мою субъективную уверенность, значит, я должен доказать себе, что прав. Но я не могу этого сделать, потому что наличие у меня двух рук недостоверно, пока я не взгляну на них. Но я могу сказать: «То, что у меня две руки, — твердая вера». Это выразит тот факт, что я не готов признавать что-либо в качестве довода против своего утверждения.

246. «Тут я подошел к фундаменту своей веры». «Этого я буду держаться!» Но не потому ли, в самом деле, что полностью в этом убежден? И в чем я «полностью убежден»?

247. Каково сомневаться в том, две ли у меня руки? Почему я не могу этого вообразить? Во что мне верить, если я не поверю в это? У меня по-прежнему нет системы, в которой могло бы существовать подобное сомнение.

248. Я дошел до дна своих убеждений.

И почти можно сказать, что эти убеждения — как стены, на которых держится дом.

249. Рисуешь себе ложную картину сомнений.

250. Наличие у меня двух рук, при нормальных условиях, так же достоверно, как любое доказательство в пользу этого.

Вот почему я не могу принять в качестве доказательства то, что сам их вижу.

251. Разве это не значит: я должен действовать в согласии с этим убеждением и не позволять ничему сбивать себя с толка?

252. Но дело не просто в том, что я верю в наличие у себя двух рук, в это верит и всякий разумный человек.

253. В основании хорошо обоснованной веры лежит вера в то, что она не обоснована.

254. Всякий «разумный» человек ведет себя именно так.

255. Сомнение обладает некими характерными свойствами, но они являются таковыми лишь при определенных условиях. Если кто-то говорит, что сомневается в наличии своих рук, продолжая разглядывать их со всех сторон, пытаясь убедиться, что это не «просто отражение в зеркале» и т. д., мы не уверены, можно ли назвать это сомнением. Мы можем описать его поведение как поведение сомнения, но его игра — не наша.

256. С другой стороны, языковая игра меняется со временем.

257. Если кто-то скажет мне, что сомневается, есть ли у него тело, я приму его за душевнобольного. Но я не буду знать, как его переубедить. И если я скажу что-то, что устранит его сомнения, я не буду знать, что именно и почему.

258. Я не знаю, как следует использовать суждение «У меня есть тело».

Этого не скажешь со всей уверенностью о суждении, что я никогда не отрывался далеко от поверхности планеты.

259. Тот, кто сомневается, что Земля существовала 100 лет, может испытывать научные — или, с другой стороны, философские сомнения.

260. Хочу зарезервировать выражение «я знаю» для случаев, когда оно используется в нормальном языковом употреблении.

261. Я не могу в данный момент представить себе разумное сомнение в существовании Земли в последние 100 лет.

262. Я могу вообразить человека, который вырос в особых условиях и усвоил, что Земля появилась 50 лет назад, а посему верит в это. Мы можем сказать ему: на самом деле Земля появилась давным-давно. Тем самым мы попытаемся передать ему свою картину мира.

Передача происходит посредством убеждения.

263. Школьник верит учителям и учебникам.

264. Могу представить, что Мура захватило дикое племя, которое подозревает, что он появился из места между Землей и Луной. Мур говорит им, что знает и т. д., но не может привести доказательств своего знания, потому что у дикарей имеются диковинные представления о способ-

ности людей летать, а физики они не знают. Этот случай подходит под муровское заключение.

265. Но что оно сообщает кроме как: «Я никогда не бывал в таком-то месте и имею все основания считать так»?

266. И надо выяснить, что такое эти основания.

267. «Я не просто вижу дерево; я знаю, что это дерево».

268. «Я знаю, что это рука». А что такое рука? «Ну, вот это, например».

269. Более достоверно ли для меня, что я не бывал на Луне, чем что я не бывал в Болгарии? Почему я так уверен? Что ж, я знаю, что никогда не бывал по соседству с ней — например, никогда не посещал Балканы.

270. «У меня есть все основания для уверенности». Эти основания делают уверенность объективной.

271. Каким быть основанию, решаю не я.

272. Я знаю — значит я воспринимаю это как достоверность.

273. Но когда мы говорим, что нечто достоверно?

Ведь возможны споры о достоверности чего-либо, то есть об объективной его достоверности.

Бесчисленное множество общих эмпирических суждений кажется нам достоверными.

274. Одно таково: если отрубить руку, она не вырастет заново. Другое: если кому-то отрубить голову, он умрет и никогда не оживет.

Скажут, что опыт учит нас таким суждениям. Однако он не учит нас каждому из них по отдельности; скорее, нас учат взаимозависимым суждениям. Будь они изолированными, я мог бы усомниться в них, ибо не располагаю сугубым опытом, к ним относящимся.

275. Если опыт есть основание достоверности, тогда, разумеется, последняя вытекает из опыта.

И это, например, опыт не только мой, но и опыт других людей, из которого я получаю знание.

Могут сказать, что опыт заставляет нас верить другим. Но какой опыт заставляет меня считать истиной сведения в учебниках анатомии и физиологии? Пусть и справедливо, что доверие подкреплено моим собственным опытом.

276. Мы верим, так сказать, что это большое здание существует, и видим то здесь, то там его уголки.

277. «Не могу не верить...»

278. «Мне удобно считать, что таков порядок вещей».

279. Этот автомобиль наверняка не вырос из земли. Мы считаем, что если кто-то верит в обратное, то он сочтет ложью любые наши слова и оспорит все, что мы полагаем истинным.

Но как его убеждения сочетаются с верой прочих? Хочется сказать, что тот, кто верит в подобное, не принимает нашу систему проверки.

Эта система есть нечто, что человек приобретает посредством созерцания и усвоения. Я намеренно не говорю «обучения».

280. Увидев то-то и то-то и услышав то-то и то-то, он не вправе сомневаться, что...

281. Я, Л. В., верю, убежден, что мой друг не имеет опилок в теле или в голове, пусть даже у меня нет прямого чувственного доказательства обратного. Я уверен по причине того, что мне говорили, что я читал и по своему опыту. Сомневаться в этом было бы безумием — конечно, я согласен с другими людьми, но согласен с ними именно я.

282. Не могу сказать, что располагаю надежными основаниями для мнения, что кошки не растут на деревьях или что у меня были отец и мать.

Если кто-то в этом сомневается, откуда берется сомнение? Или он изначально верил, что у него нет родителей? Или же потому, что его так научили?

283. Откуда взяться у ребенка сомнениям в том, чему его только что научили? Это означало бы, что он не способен усвоить конкретные языковые игры.

284. Люди убивают животных с незапамятных времен, пускают их на мех, перерабатывают кости и т. д. и полностью уверены в том, что у животных одной породы одинаковое строение тел.

Они всегда учились по опыту, и мы видим по их действиям, что они верят чему-то безоговорочно, выражают они эту веру или нет. Этим я, разумеется, не хочу сказать, что люди должны вести себя именно так, но — что они ведут себя именно так.

285. Если кто-то ищет что-либо и, возможно, копает в конкретном месте, он показывает, что верит в наличие этого чего-либо именно здесь.

286. Во что мы верим, зависит от того, что мы узнаем. Мы все верим, что невозможно попасть на Луну, но могут быть люди, которые верят, что это возможно и однажды произойдет. Мы говорим: эти люди не знают многое из

того, что известно нам. И, пусть они никогда не верили безоговорочно, они ошибаются, и мы это знаем.

Если мы сравним свою и их системы знания, их система окажется очевидно беднее нашей.

23.09.1950

287. Белка не прибегает к индукции, чтобы решить, что она должна запасти провиант и на следующую зиму. И нам не нужно применять закон индукции для оправдания наших действий и прогнозов.

288. Я знаю не только то, что Земля существовала задолго до моего рождения, но и что это крупное тело, твердое тело, что у меня и остального человечества были предки, что есть книги обо всем этом, что эти книги не врут и т. д. Знаю ли я это? Я верю в это. Этот свод знаний мне передали, и я не имею оснований сомневаться в нем; наоборот, я располагаю всеми основаниями ему верить.

И почему бы мне не сказать, что я знаю все это? Разве не так мы говорим?

И знаю и верю не только я, но и другие люди тоже. Скорее, я верю, что они верят.

289. Я твердо убежден, что другие верят, верю, что они знают, что все это — факты.

290. Я пишу в своей книге, что дети учатся понимать слова таким-то способом. Я знаю это или верю в это? Почему я не пишу в подобном случае «я верю», но просто использую указательные предложения?

291. Мы знаем, что Земля круглая. Мы полностью убеждены в этом.

Мы будем держаться этого убеждения, пока не изменится полностью наш взгляд на природу. «Откуда вы это знаете?» Я верю в это.

292. Последующие эксперименты не опровергнут предыдущих; в лучшем случае они изменят наш взгляд на мир.

293. Точно так же с суждением «Вода закипает при 100°C».

294. Так мы достигаем убеждения, откуда выражение «быть справедливо убежденным».

295. И не имеет ли всякий, в этом смысле, доказательств суждения? Но повторение чего-то не есть доказательство, хотя мы и говорим, что это дает нам право считать иначе.

296. Вот то, что мы называем «эмпирическим основанием» допущений.

297. Ибо мы узнаем не только об экспериментах и их результатах, но и о заключениях, которые делаются из результатов. И, конечно, в этом нет ничего дурного. Ибо эти выведенные суждения являются инструментом конкретного назначения.

298. «Мы полностью убеждены в этом» не значит, что в этом уверен каждый, а значит, что мы принадлежим к сообществу, объединенному наукой и образованием.

299. Мы уверены, что Земля круглая.

10.03.1951

300. Не все исправления наших взглядов одинаковы.

301. Допустим, неверно, что Земля существовала задолго до моего рождения; как нам представить обнаружение ошибки?

302. Нет пользы говорить: «Возможно, мы ошибаемся», когда, если нет достоверных доказательств, доверие исключается из текущих свидетельств.

303. Если, к примеру, мы всегда ошибались в подсчете, и двенадцать на двенадцать не равняется 144, почему мы должны доверять другим вычислениям? И конечно, все они покажутся некорректными.

304. Но не совершаю ли я ошибку, заключая, что двенадцатью двенадцать будет сто сорок четыре? Я могу сказать позднее, что запутался, но не что ошибался.

305. Здесь снова требуется шаг наподобие совершенного в теории относительности.

306. «Не думаю, что это рука». Но знаете ли вы, что значит слово «рука»? И не говорите: «Я знаю, что оно значит для меня». Это ли не эмпирический факт — что это слово используется именно так?

307. Странно то, что когда я уверен в способе употребления слов и не испытываю сомнений, я не могу привести оснований в поддержку своей уверенности. Если попытаться, я могу найти тысячу оснований, но ни одно из них не будет настолько достоверным, как то, основанием чего они призваны служить.

308. «Знание» и «достоверность» принадлежат к различным категориям. Это не два «психических состояния», как, например, «допущение» и «уверенность». (Здесь я допускаю, что осмысленно говорить «я знаю, что значит слово "сомнение"», и что это предложение указывает на логическую роль данного слова.) Нас интересует не уверенность, а знание. То есть, мы заинтересованы в том факте,

что для некоторых достоверных эмпирических суждений сомнение невозможно, хотя оценки — возможны. Или снова: я склонен верить, что далеко не все, обладающее формой эмпирического суждения, является таковым.

309. Правило и эмпирическое суждение сливаются друг с другом?

310. Ученик и учитель. Ученик не позволяет все объяснить, постоянно перебивает и сомневается, например, в существовании предметов, в значении слов и т. д. Учитель говорит: «Перестань перебивать и делай, как я говорю. Пока твои сомнения бессмысленны».

311. Или представим, что мальчик оспаривает факты истории (и все, что с ними связано). Даже то, что Земля существовала сто лет назад.

312. Мне кажется, это сомнение — пустое. Но в этом случае не пуста ли и вера в историю? Нет, с ней очень многое связано.

313. Значит, вот что побуждает нас верить суждению? Что ж, грамматика глагола «верить» просто сочетается с грамматикой суждения, в которое верят.

314. Представим, что ученик на деле спросил: «А есть ли стол, когда я отворачиваюсь и когда никто на него не смотрит?» Следует ли учителю уверить его и сказать: «Конечно!»?

Быть может, учитель слегка потеряет терпение, но подумайте, кем вырастет мальчик, задающий такие вопросы.

315. Иными словами, учитель чувствует, что это вопрос не совсем правильный.

И то же самое, если ученик усомнится в единообразии природы, то есть в основании индуктивных доводов. Учитель ощутит, что это лишь помеха, что таким образом обучение застопорится и ученик не добьется успеха. И он будет прав. Как если бы некто искал некий предмет в комнате: он открывает ящик и не видит искомого, затем закрывает, ждет и снова открывает — а вдруг нечто появилось, и так далее. Он не умеет искать предметы. И точно так же ученика не научили задавать вопросы. Он не научился игре, которую ему пытались преподать.

316. И не то же ли это, как если бы ученик на уроке истории усомнился, что Земля действительно?..

317. Это сомнение не подходит к нашей игре. (Но мы ее вовсе не выбираем!)

12.03.1951

318. «Вопрос даже не встает». Ответ будет характеристикой метода. Но нет четкой границы между методологическими суждениями и суждениями внутри метода.

319. Но тогда возможно сказать, что нет четкой границы между суждениями логики и эмпирическими суждениями? Отсутствие четкости есть свойство границы между правилом и эмпирическим суждением.

320. Здесь следует, я полагаю, напомнить, что понятийные суждения не являются четкими.

321. Я не говорю: любое эмпирическое суждение может быть преобразовано в постулат, а затем становится нормой описания. Но я с подозрением отношусь даже к этому положению. Предложение слишком общее. Хочется ска-

зать «любое эмпирическое суждение может теоретически быть преобразовано...» Но что значит здесь «теоретически»? Слишком напоминает «Трактат».

322. Что, если ученик откажется верить, что гора стоит тут с незапамятных времен?

Мы скажем, что у него нет оснований для подобных сомнений.

323. Значит, рациональное сомнение должно иметь основания?

Мы можем также сказать: «Разумный человек в это верит».

324. И потому мы не назовем разумным того, кто верит чему-то вопреки научным доказательствам.

325. Когда мы говорим, что знаем то-то и то-то, мы имеем в виду, что любой разумный человек в нашем положении будет это знать, что не верить тому неразумно. И Мур хочет сказать не просто, что он знает, но и что всякий человек, наделенный разумом, знает то же самое.

326. Но кто говорит, что разумно верить в данной ситуации?

327. Так что можно сказать: «Разумный человек верит: что Земля существовала задолго до его рождения, что он проводит жизнь на поверхности планеты, или рядом с ней, что он никогда, к примеру, не бывал на Луне, что у него есть нервная система и различные внутренние органы, как у других людей, и т. д.».

328. «Я знаю это, как и то, что меня зовут Л. В.».

329. «Если он сомневается — что бы ни значило здесь слово “сомнение”, — ему никогда не научиться этой игре».

330. То есть фраза «я знаю» выражает готовность верить чему-то.

13.03.1951

331. Если мы хотим действовать достоверно, опираясь на веру, стоит ли удивляться, что мы во многом не можем сомневаться?

332. Представьте, что некто говорит, вовсе не желая философствовать: «Я не знаю, бывал ли я на Луне; я не помню, что бывал там». (Почему этот человек должен принципиально отличаться от нас?)

Во-первых, откуда ему знать, что он бывал на Луне? Как он это себе воображает? Сравните: «Я не знаю, бывал ли я в деревне X». Но если бы деревня X находилась в Турции, я бы такого не сказал, потому что знаю, что никогда не бывал в Турции.

333. Я спрашиваю: «Вы бывали в Китае?» Мне отвечают: «Не знаю». Тут хочется переспросить: «Не знаете? Есть ли у вас основания верить, что вы могли там бывать? Бывали ли вы, например, у китайской границы? Или же ваши родители были в тех краях, когда близился срок вашего рождения?» Обычно европейцы знают, бывали они в Китае или нет.

334. То есть: только в сугубых обстоятельствах разумный человек сомневается в этом.

335. Судебная процедура основывается на том факте, что обстоятельства придают свидетельствам достовер-

ность. Свидетельство, к примеру, что некто появился в этом мире без родителей, в суде к рассмотрению не примут.

336. Но что люди считают разумным и неразумным — произвольно. В одно время считается разумным то, что в другое видится неразумным. И наоборот.

Есть ли здесь объективное свойство?

Весьма разумные и хорошо образованные люди верят в историю творения по Библии, а другие считают ее ложной, и основания последнего мнения отлично известны приверженцам первого.

337. Нельзя проводить эксперимент, если нет убеждений, в которых не сомневаешься. Но это не значит, что некие предположения следует принимать на веру. Когда я пишу письмо и отправляю его почтой, я принимаю как данность, что оно прибудет к адресату; я ожидаю этого.

Если я провожу эксперимент, то не сомневаюсь в существовании прибора, который у меня перед глазами. У меня достаточно сомнений, но не в этом. Если я считаю, то верю, без тени сомнения, что цифры на бумаге не изменятся по собственной воле, и также верю памяти, без малейших ограничений. Достоверность здесь та же, что и в случае, что я никогда не бывал на Луне.

338. Но представим людей, которые никогда в этом не были уверены, однако говорят, что, вполне вероятно, так и есть, и потому не желают сомневаться. Такой человек в моей ситуации скажет: «Категорически невероятно, что я когда-либо бывал на Луне», и т. д. Насколько жизнь этих людей отличается от нашей? Эти люди говорят, что лишь вполне возможно, что вода на огне закипит, а не замерзнет, и поэтому, строго говоря, то, что мы считаем невозможным, лишь невероятно. Какое влияние это оказывает

на их жизни? Не рассуждают ли они более пространно и уверенно, чем остальные?

339. Вообразим, что кто-то должен встретить друга на вокзале и не сверяется с расписанием поездов, прежде чем отправиться в путь, а говорит: «Я не верю, что поезд на самом деле придет, однако все равно поеду». Он делает все то, что делает обычный человек, но его действия сопровождаются сомнениями или душевными муками.

340. Мы знаем столь же достоверно, сколь верим любым математическим суждениям, как читаются буквы *A* и *B*, как называется цвет человеческой крови, что другие люди тоже имеют кровь и называют ее «кровью».

341. То есть вопросы, которые мы задаем, и наши сомнения зависят от факта, что некоторые суждения не подвержены сомнениям, как если бы они были петлями, на которых висели остальные.

342. То есть логика философских исследований подразумевает, что некоторые суждения неоспоримы.

343. Но не так в следующей ситуации: мы не можем исследовать все и по этой причине вынуждены пользоваться допущениями. Если я хочу, чтобы дверь открывалась, петли должны быть закреплены.

344. Моя жизнь есть согласие принимать многое произвольно.

345. Если я спрашиваю: «Какой цвет вы видите?», чтобы узнать, какой цвет налицо в данный миг, я не могу в то же время узнавать, знает ли человек, к которому я обращаюсь, английский язык, хочет ли он ответить, не подво-

дит ли меня моя собственная память применительно к названиям цветов, и т. п.

346. Когда я играю в шахматы, я не могу сомневаться в том, что фигуры неспособны двигаться самостоятельно, — и что моя память одновременно шутит надо мной шутки, так что я не замечаю перемещений фигур.

15.03.1951

347. «Я знаю, что это дерево». Почему мне кажется, что я не понимаю этого предложения? Ведь оно совсем простое, совсем обычное. Как если бы я не мог сосредоточиться на его значении. Просто потому, что я не сосредоточиваюсь на значении. Едва я представлю себе повседневное употребление предложения вместо философского, значение станет ясным и обыденным.

348. Так слова «я здесь» имеют значение лишь в сугубом контексте, а не когда я обращаю их к тому, кто сидит передо мной и видит меня ясно, — и не потому, что ими можно пренебречь, а потому, что их значение не определяется ситуацией, но требует такой ситуации.

349. «Я знаю, что это дерево» — это может значить что угодно: я смотрю на побег, который принимаю за бук, а кто-то считает его черной смородиной. Он говорит: «Это кустарник», я же вижу дерево. В тумане мы видим нечто, и один из нас верит, что это человек, а другой говорит: «Это дерево». Кто-то хочет проверить мое зрение и т. д. Всякий раз то, что я называют «деревом», становится иным.

Но когда мы выражаем себя более четко? Например: «Я знаю, что вон то — дерево, я вижу его ясно». Предположим даже, что я сделал это замечание в контексте разговора (чтобы оно имело смысл); и теперь, вне контекста,

я его повторяю, глядя на дерево, и добавляю: «Я имел в виду именно это пять минут назад». Если я добавлю, например, что думал о своем плохом зрении, как бы вздохну, то тогда в моем замечании не будет никакой загадки.

Ведь смысл предложения можно выразить дополнением и объединить его с этим дополнением.

350. «Я знаю, что это дерево» — фраза, которую философ мог произнести, чтобы показать себе или другим, что он знает нечто за пределами математической или логической истины. Сходным образом некто, лелеющий мысль, что более ни к чему не пригоден, может повторять себе: «Я все еще могу сделать это, и это, и это». Если подобные мысли посещают его часто, не будет удивительно, если он произнесет подобное вне контекста и вслух. (Но я уже набросал фон, окружение для этого замечания, то есть дал ему контекст.) Но если кто-либо, в совершенно отличных обстоятельствах, выкрикнет с убедительнейшим выражением лица: «С ним покончено!», можно сказать об этой фразе (и тоне), что они суть привычный оборот, но в этом случае непонятно даже, на каком языке говорит человек. Я могу сделать рукой движение, которое сделал бы, держи я пилу и пытайся распилить доску; но вправе ли мы назвать это движение вне контекста распиливанием? (Это может быть нечто совсем иное.)

351. Разве вопрос: «Имеют ли эти слова значение?» не аналогичен вопросу: «Это инструмент?» применительно, скажем, к молотку? Я говорю: «Да, это молоток». Но что если принимаемое нами за молоток есть на самом деле метательный снаряд или дирижерская палочка? Так и используйте его сами.

352. Если кто-то говорит: «Я знаю, что это дерево», можно ответить: «Да, это предложение английского языка.

И что оно означает?» Допустим, он отвечает: «Я просто хотел напомнить себе, что знаю подобное».

353. Или же он скажет: «Я хотел произвести логическое наблюдение». Если лесник отправляется в лес с помощниками и говорит: «Это дерево нужно срубить, и это, и вон то» — сообщает ли он при этом: «Я знаю, что это дерево»? И не могу ли я сказать о нем: «Он знает, что это дерево — он ведь не осматривал его и не приказывал осмотреть своим помощникам»?

354. Поведение человека с сомнениями и того, кто не сомневается. Первое возможно только при наличии второго.

355. Психиатр (возможно) спросит меня: «Вы знаете, что это?», и я могу ответить: «Я знаю, что это стул; я узнаю его, он всегда стоял в моей комнате». Он задает вопрос, вероятно, чтобы проверить не мое зрение, но мою способность узнавать предметы, называть их имена и функции. То есть проверяет мой способ познания мира. Будет ли неверно сказать: «Я верю, что это стул», поскольку это выразит мою готовность подвергнуть суждение проверке? А фраза «я знаю, что...» подразумевает растерянность, как если бы сказанное мной не имело подтверждения.

356. Мое «психическое состояние», «знание» никак не гарантирует, что что-то произойдет. Но оно заключено в том, что я не должен понимать, где может корениться сомнение и где возможна дополнительная проверка.

357. Могут сказать: «“Я знаю” выражает удобную достоверность, а не достоверность, которая до сих пор сопротивляется».

358. Я бы хотел рассмотреть эту достоверность не как нечто сродни торопливости или небрежению, но как форму жизни. (Это плохо выражено и, возможно, не лучше продумано.)

359. Но это значит, что я хочу трактовать ее как нечто, лежащее за пределами обоснования, как она есть, как нечто животное.

360. Я знаю, что это моя нога. Я не могу принять никакого опыта в опровержение этого. И что следует из подобного восклицания? По крайней мере, что я могу действовать достоверно, не ведая сомнений, в согласии со своими убеждениями.

361. Но я также могу сказать: Господь открыл мне, что это так. Господь научил меня, что это моя нога.

И потому если происходит нечто, противоречащее этому знанию, я должен воспринимать происходящее как обман.

362. Но не вытекает ли отсюда, что знание родственно решению?

363. И трудно отыскать переход от восклицания к его последствиям в действиях.

364. Можно еще задать вопрос: «Если вы знаете, что это ваша нога, известно ли вам также, или вы только верите, что никакой будущий опыт не опровергнет ваше знание?» (То есть ничто не заставит вас посчитать иначе.)

365. Если ответить: «Я знаю, что мне никогда не покажется, будто что-то опровергает это знание», что мы узна-

ем из этого, не считая уверенности говорящего, что подобное не случится?

366. Допустим, запрещено говорить «я знаю», позволено лишь говорить «я верю, что знаю».

367. Не цель ли использования слова «знать» аналогично слову «верить» в том, чтобы исключить выражение «я знаю» в тех случаях, когда человек, который его произносит, ошибается?

В результате ошибка становится чем-то запретным.

368. Если кто-то скажет, что не признает опыт в качестве доказательства обратного, это будет в конце концов некое решение. Возможно, сам он будет действовать ему вопреки.

16.03.1951

369. Если я отважусь усомниться, что это моя рука, как могу я избежать сомнения, имеет ли слово «рука» хоть какое-то значение? Это то, что я все же знаю.

370. Более корректно: тот факт, что я использую слово «рука» и все прочие слова в своем предложении без раздумий, что я будто встаю перед пропастью, отваживаясь усомниться в их значении, показывает, что отсутствие сомнений принадлежит сути языковой игры, что вопрос «Откуда я знаю, что...» тянет за собой языковую игру или отмирает вместе с ней.

371. Не означает ли фраза «Я знаю, что это рука», в муровском смысле, приблизительно то же самое, что: я могу строить такие суждения, как: «У меня болит рука», или

«Эта рука слабее другой», или «Я однажды сломал эту руку» и бесчисленное множество других в языковых играх, где сомнение относительно наличия этой руки не возникает?

372. Лишь в сугубых случаях возможно провести исследование «правда ли это рука?» (или «моя рука»). Ведь: «Я сомневаюсь, что это моя (или просто) рука» не имеет смысла без более детального определения. Нельзя заключить из этой фразы, подразумевается ли какое-либо сомнение — и какое именно.

373. Почему считается возможным иметь основания для веры во что-либо, если удостовериться невозможно?

374. Мы учим ребенка: «Это твоя рука», а не: «Это, возможно (или вероятно) твоя рука». Так ребенок узнает неисчислимые языковые игры, связанные с его рукой. У него не возникает вопрос: «Правда ли это рука?». С другой стороны, он не научается тому, что знает: это — рука.

375. Нужно понимать, что полное отсутствие сомнений в некий миг, даже если мы говорим, что «законное» сомнение может иметь место, не обязательно фальсифицирует языковую игру. Ведь имеется также нечто наподобие иной арифметики.

Я верю, это положение должно лежать в основе всякого понимания логики.

17.03.1951

376. Я могу страстно утверждать, что знаю: это (например) моя нога.

377. Но страсть есть явление крайне редкое, и от нее не остается следа, когда я говорю о своей ноге обычным образом.

378. Знание по сути основано на признании.

379. Я страстно говорю: «Я знаю, что это нога»; но что это значит?

380. Я могу продолжить: «Ничто в мире не убедит меня в обратном». Для меня сей факт лежит в основании всего познания, я готов отказаться от многого, но не от него.

381. Это «Ничто в мире...» есть отношение, которого не испытываешь в связи с чем-то, во что веришь или считаешь достоверным.

382. То есть на самом деле вряд ли ничто в мире не заставит меня считать иначе.

383. Довод: «Я словно сплю» бессмыслен по следующей причине: если я сплю, это замечание мне приснилось, как и то, что эти слова имеют хоть какое-то значение.

384. Теперь — какого рода предложение «Ничто в мире...»?

385. Оно имеет форму предсказания, но, конечно, не основано на опыте.

386. Всякий, кто повторяет за Муром, что знает то-то и то-то, выражает степень достоверности суждения. И важно, что эта степень для него максимальна.

387. Кто-то может спросить: «Насколько вы уверены, что вон там дерево; что в вашем кармане лежат деньги; что это ваша нога?» И ответ в одном случае может быть: «Не уверен», во втором: «Полностью уверен», а в третьем: «Я не могу в этом сомневаться». И эти ответы будут иметь смысл даже при отсутствии оснований. Мне не нужно, к примеру, говорить: «Я не могу быть уверен, что там стоит дерево, потому что мое зрение недостаточно острое». Я хочу сказать: для Мура имело смысл заявлять «я знаю, что это дерево», если он подразумевал нечто конкретное.

[Я верю, философа, того, кто мыслит, могут заинтересовать мои записи. Ибо даже пусть я редко попадаю в цель, он признает цели, по которым я стреляю, не глядя.]

388. Всякий из нас часто пользуется подобными предложениями, и не подлежит сомнению, что они имеют смысл. Но значит ли это, что они имеют некое философское употребление? Будет ли большим доказательством внешнего тот факт, что я знаю, что это рука, чем тот, что я не знаю, медная она или золотая?

18.03.1951

389. Мур хотел привести пример и показать, что нам доступны лишь суждения о физических объектах. Если бы возник спор, может ли кто-то ощущать боль в том или ином органе тела, тот, кто чувствует боль, мог бы сказать: «Уверяю вас, мне сейчас больно». Но прозвучало бы странно, скажи Мур: «Уверяю вас, я знаю, что это дерево». Личный опыт для нас попросту неинтересен.

390. Все, что важно, — осмысленно говорить, что некто знает нечто; как следствие, утверждение, что некто знает нечто, не имеет последствий.

391. Представим себе языковую игру: «Когда я зову тебя, заходи в дверь». В обычных условиях сомнение в наличии двери невозможно.

392. Я хочу доказать, что сомнение не обязательно, даже когда оно возможно. Что возможность языковой игры не зависит от того, все ли, подверженное сомнению, ему подвергнуто. (Это связано с ролью противоречия в математике.)

393. Предложение: «Я знаю, что это дерево», если оно произнесено вне языковой игры, может также быть цитатой (скажем, из учебника английского языка). «Но допустим, что я, когда его произношу, осмысливаю это предложение?» Застарелое непонимание сути понятия «осмысливать».

394. «Это одно из того, в чем я не могу сомневаться».

395. «Я знаю все это». И знаю, что последует из моего способа действий и рассуждений о том, о чем идет речь.

396. В языковой игре можно ли сказать, что знаешь, что это камни для строительства? Нет, но говорящий это знает.

397. Не ошибся ли я, и не был ли Мур абсолютно прав? Не допустил ли я элементарную ошибку, смешав мышление со знанием? Конечно, сам я не думаю: «Земля существовала до моего рождения», но я ведь это знаю? Не показал ли я, что знаю это, всегда опираясь на это знание и выводя из него следствия?

398. И я знаю, что в этом доме нет лестницы, уходящей на шесть этажей под землю, даже пусть я никогда не слышал об этом?

399. Но разве выведение следствий не показывает, что я лишь принимаю эту гипотезу?

19.03.1951

400. Тут я склонен сражаться с ветряными мельницами, поскольку не могу еще высказать то, что хочу сказать.

401. Я хочу сказать: суждения о форме эмпирических суждений, а не только суждения логики, образуют основу всех действий с мыслями (с языком). Это наблюдение не о форме «я знаю». Последняя указывает, что я знаю, а это не представляет логического интереса.

402. В предыдущем замечании фраза «суждения о форме эмпирических суждений» сама по себе дурна; положения, о которых идет речь, суть положения о материальных объектах. И они не служат основаниями в том же смысле, как гипотезы, которые, если они оказываются ложными, заменяются другими.

(...und schreib getrost
«Im Anfang war die Tat»*[4].)

403. Говорить, что человек, в муровском смысле, что-то знает, и поэтому то, что он говорит, безусловно правдиво, кажется мне ошибочным. Это истина ровно настолько, насколько налицо основания его языковой игры.

404. Я хочу сказать: не существует мест, в которых люди знали бы истину с непоколебимой достоверностью. Нет, непоколебимая достоверность есть лишь свойство их точки зрения.

---

* «"В начале было дело" — / Стих гласит...» Перевод Б. Пастернака.

405. Но, конечно, даже здесь возможна ошибка.

406. К чему я веду, обнаруживается также в различии между текущим наблюдением: «Я знаю, что это», его употреблением в житейском обиходе и тем же самым суждением в устах философа.

407. Ибо когда Мур говорит: «Я знаю, что...», мне хочется ответить: «Вы ничего не знаете!» — и все же я не говорю этого никому, кто рассуждает на философские темы. То есть я чувствую (справедливо ли?), что в двух ситуациях это выражение сообщает разное.

408. Ведь если кто-то говорит, что знает то-то и то-то, и это часть его философии, тогда его философия ложна, если он ошибся в своем утверждении.

409. Если я говорю: «Я знаю, что это нога», что же я говорю на самом деле? Не то ли, что я уверен в последствиях своих слов, и что если кто-то сомневается, я могу сказать ему: «Видите, я же вам говорил»? Стоит ли мое знание чего-либо, если оно подводит меня в качестве повода к действиям? И может ли оно меня подвести?

20.03.1951

410. Наше знание образует огромную систему. И лишь внутри этой системы приобретает ценность то значение, которым мы его наделяем.

411. Если я говорю: «Мы допускаем, что Земля существовала многие века» (или что-то подобное), тогда, конечно, покажется странным, что мы можем это лишь допускать. Но в системе наших языковых игр в целом это — одно

из оснований. Допущение, можно сказать, формирует основу действий и, следовательно, мышления.

412. Всякий, кто не способен представить ситуацию, когда возможно сказать: «Я знаю, что это моя рука» (такие случаи и вправду редки), может назвать эти слова чепухой. Он также может сказать: «Конечно, я знаю это, как я могу не знать?», но тогда он, скорее всего, примет фразу «Это моя рука» за объяснение слов «моя рука».

413. Допустим, вы берете руку слепца и, проводя ею по своей, говорите: «Это моя рука». Если он спросит: «Вы уверены?» или «Вы точно знаете?», потребуются весьма особые обстоятельства, чтобы вопрос приобрел смысл.

414. Но, с другой стороны, откуда мне знать, что это моя рука? Знаю ли я точно, что значит сообщать о наличии у меня руки? Когда спрашиваю «Откуда мне знать?», я не имею в виду, что сомневаюсь в этом. Мы имеем здесь основание всех моих действий. Но мне кажется, что оно неверно выражается словами «я знаю».

415. И на деле разве использование слова «знать» как сугубо философского правильно? Если «знать» выражает интерес, то почему не «быть уверенным»? Очевидно потому, что последнее будет слишком субъективным. Но разве «знать» не столь же субъективно? Разве человек не путается лишь в силу произвольной грамматической зависимости, утверждающей, что «*p*» следует из «Я знаю, что *p*»?

«Я верю, что знаю» не обязательно выражает меньшую степень достоверности. Верно. Однако человек не пытается выразить даже максимум субъективной достоверности, скорее, выражает то, что достоверные суждения лежат, как представляется, в основе всех вопросов и мышления в целом.

416. И у нас есть пример этого в суждении, что я жил в этой комнате на протяжении последних недель; моя память меня не обманывает. «Это достоверно вне всяких разумных сомнений».

21.03.1951

417. «Я знаю, что в последний месяц я каждый день принимал ванну». Что я вспоминаю? Каждый день и утреннюю ванну? Нет. Я знаю, что мылся каждый день, и не вывожу этого из каких-либо других доступных данных.

Сходно я говорю: «Я чувствую боль в руке», не обращаясь к особому уголку сознания за образом (допустим, за зрительным образом).

418. Или мое понимание — лишь слепота в отношении отсутствия понимания? Мне часто так кажется.

419. Если я говорю: «Я никогда не бывал в Малой Азии», откуда я получил это знание? Я не выработал его, никто мне ничего не сказал, но моя память подсказывает мне. Значит, я не могу ошибаться на сей счет? Есть ли здесь истина, мне известная? Я не могу отбросить это суждение без того, чтобы не отринуть и все прочие суждения.

420. Даже суждение наподобие того, что я ныне живу в Англии, имеет две стороны: это не ошибка — но, с другой стороны, что я знаю об Англии? Может мое суждение быть ошибочным?

Возможно ли, чтобы все, кто войдет в мою комнату, заявили обратное? Даже предъявили «доказательства», и я вдруг оказался бы безумцем в окружении душевно здоровых или здоровым в окружении душевнобольных? Не начну ли я тогда страдать от сомнений по поводу того, что в настоящий миг кажется мне неоспоримым?

421. Я в Англии. Все вокруг говорит это, куда бы я ни обратил свои помыслы, и мысли мои находят незамедлительное подтверждение. Но не утрачу ли я свою уверенность, если произойдет нечто, чего я ныне не в состоянии даже предположить?

422. Итак, я пытаюсь сказать нечто прагматическое.

И меня сбивает с мысли нечто наподобие Weltanschauung*.

423. Тогда почему я просто не повторяю за Муром: «Я знаю, что я в Англии»? Это имеет смысл в определенных условиях, которые я могу вообразить. Но когда я произношу это суждение вне таковых условий, как пример того, что и схожие суждения могут иметь достоверность, оно сразу кажется менее нелепым. Справедливо ли?

424. Я говорю: «Я знаю, что *p*» либо чтобы убедить других, что я тоже знаю истинность *p*, либо просто чтобы подчеркнуть *p*. Можно сказать: «Я не верю этому, я это знаю». И иначе (к примеру): «Это дерево. И это не предположение».

Но как насчет такого: «Если я скажу кому-то, что это дерево, это не будет просто предположением»? Не это ли пытается сказать Мур?

425. Это не будет предположением, и я могу сказать кому-то об этом с уверенностью, как о чем-то, в чем нет сомнений. Но значит ли это, что истина бесспорна? Может, то, что я достоверно признаю деревом, поскольку считал его таковым всю свою жизнь, окажется чем-то совершенно иным? Может, меня обманывали?

---

* Мировоззрение (*нем.*).

Тем не менее правильно, в условиях, придающих суждению смысл, говорить: «Я знаю (не просто предполагаю), что это дерево». Сказать, что я лишь верю в это, было бы ошибкой. И было бы совершенно неверно говорить: «Я верю, что меня зовут Л. В.». И это тоже верно: я не могу допускать ошибку в подобном. Но отсюда не следует, что я непогрешим.

21.03.1951

426. Но как можно показать кому-то, что нам ведома истина, не только о чувственно воспринимаемом, но и о предметах? Ведь в конце концов этого не будет достаточно, чтобы человек уверил нас, что знает что-то.

Что ж, откуда начинать, если мы хотим показать?

22.03.1951

427. Нужно показать, что даже если человек не пользуется фразой «я знаю», его поведение свидетельствует об обратном.

428. Допустим, человек обычного поведения уверяет нас, что лишь верит: что его зовут так-то, что он узнает людей, с которыми регулярно встречается, что у него есть руки и ноги, даже когда он на них не смотрит, и так далее. Можем ли мы доказать, что все не так, как он демонстрирует (и говорит)?

23.03.1951

429. Какова причина допускать, когда я не вижу пальцев своих ног, что у меня пять пальцев на каждой ноге?

Правильно ли говорить, что эта причина — опыт, который всегда мне это сообщал? Уверен ли я в опыте более, чем в наличии десяти пальцев?

Опыт вполне может оказаться причиной моей текущей уверенности, но является ли он основанием?

430. Я встречаю персону с Марса, которая спрашивает: «Сколько пальцев на ногах у людей?» Я отвечаю: «Десять. Сейчас покажу» и снимаю ботинки. Допустим, марсианин удивлен моей уверенностью при том, что я не смотрел на ноги. Следовало ли мне сказать: «Мы, люди, знаем, сколько у нас пальцев, пусть даже мы их не видим»?

26.03.1951

431. «Я знаю, что эта комната на втором этаже, что за дверью короткая площадка ведет к лестнице, и так далее». Можно представить случаи, когда я произношу подобное, но они окажутся весьма редкими. С другой стороны, я выказываю свое знание как в действиях, так и тем, что говорю.

И что еще узнается из этих действий и слов? Не то ли, что я уверен в своих основаниях? Из того факта, что я прожил здесь много недель и поднимался и спускался по лестнице каждый день, можно выяснить, что я знаю, где расположена моя комната. Я охотно произнесу: «Я знаю», если мой собеседник не знает того, что можно было бы вывести из моего суждения.

432. Фраза «я знаю» имеет значение лишь в связи с другими проявлениями моего «знания».

433. И если я говорю кому-то: «Я знаю, что это дерево», я словно сообщаю, что «это дерево; и вы можете абсолютно положиться на это, никаких сомнений». И философ

может употребить это суждение, лишь чтобы показать, что использована конкретная форма речи. Но если он не просто делает замечание относительно грамматики английского языка, тогда он должен привести условия, в которых функционирует это выражение.

434. Учит ли нас опыт, что в таких-то условиях люди узнают то-то и то-то? Разумеется, опыт показывает, что обычно после стольких-то дней человек способен освоиться в доме, где он поселился. Или так: опыт учит нас, что после длящегося столько-то времени периода обучения суждениям человека можно доверять. Он должен, учит нас опыт, научиться делать корректные прогнозы. Однако...

27.03.1951

435. Человека часто чарует слово. Например, слово «знать».

436. Связан ли Бог нашим знанием? И многие ли наши суждения неопровержимы? Вот что мы готовы утверждать.

437. Тянет сказать: «Это не может быть ложью». Интересно, но каковы последствия этого?

438. Недостаточно уверить кого-то, что я знаю, что происходит в некоем месте, не приведя оснований, способных его уверить, что я могу знать.

439. Даже суждение «Я знаю, что за этой дверью площадка и лестница на первый этаж» звучит убедительно лишь потому, что все принимают за данность, что я это знаю.

440. Есть тут нечто общее, а не просто личное.

441. В суде простое утверждение «я знаю» со стороны свидетеля никого не убедит. Должно быть доказано, что он в состоянии это знать.

Даже утверждение «Я знаю, что это рука», произнесенное, когда некто смотрит на свою руку, не будет заслуживать доверия, пока мы не узнаем сопутствующих условий. А если мы их узнаем, оно покажется нормальным в этих условиях.

442. Ибо не может ли быть так, что я лишь воображаю, что знаю?

443. Допустим, что в некоем языке нет слова, соответствующего нашему «знать». Люди просто утверждают («Это дом» и т. п.). Естественно для них делать ошибки. И потому они используют в предложении знак, указывающий, насколько вероятно совершение ошибки — или, лучше сказать, насколько вероятна ошибка. Последняя также может быть обозначена упоминанием конкретных условий. Например, «Тогда *А* сказал *В*... Я стоял близко от них и хорошо слышал». Или: «*А* был вчера в таком-то месте. Я видел его издалека. Зрение у меня не слишком острое». Или: «Там дерево. Я четко его вижу и видел многократно прежде».

444. «Поезд отправляется в два часа. Проверьте еще раз, чтобы убедиться». Или: «Поезд отправляется в два часа. Я только что сверился с новым расписанием». Можно добавить еще: «На меня в таких делах можно положиться». Польза подобных добавлений очевидна.

445. Но если я скажу: «У меня две руки», что можно здесь добавить для вящей уверенности? В лучшем случае: «при обычных обстоятельствах».

446. Но почему я так уверен, что это моя рука? Разве не вся языковая игра зиждется на этой уверенности?

Или: разве эта «уверенность» не заложена исходно в языковую игру? А именно, благодаря тому факту, что человек не играет — или играет неправильно, если не узнает достоверности объектов?

28.03.1951

447. Сравните с этим: 12 × 12 = 144. Здесь мы тоже не говорим «возможно». Ибо, насколько это суждение основано на точности подсчета и на том, что наши органы чувств не обманывают нас, оба суждения, арифметическое и физическое, находятся на одном уровне.

Хочу сказать: физическая игра столь же достоверна, как арифметическая. Но могут понять неправильно. Моя ремарка логическая, а не психологическая.

448. Хочу сказать: если мы не удивляемся тому факту, что суждения арифметики (например, таблица умножения) «абсолютно достоверны», то почему нас должно удивлять, что суждение «Это моя рука» обладает той же степенью достоверности?

449. Нечто следует изучать как основание.

450. Хочу сказать: наше обучение имеет форму «это фиалка», «это стол». Да, ребенок может впервые услышать слово «фиалка» в предложении «Быть может, это фиалка», однако он тогда спросит: «А что такое фиалка?» В ответ на это ему можно показать картинку.

Но как быть в случае, если кто-то скажет: «Это...», лишь когда увидит картинку, а до тех пор будет говорить толь-

ко: «Возможно, это...»? Какие практические последствия будет это иметь?

Сомнение, сомневающееся во всем, не будет сомнением.

451. Мое возражение против Мура таково: значение отдельного предложения «Это дерево» не определено, поскольку оно не определяется значением слова «это» применительно к дереву. Но возражение некорректно, поскольку предложение можно уточнить, например, так: «Объект, который выглядит как дерево, является не имитацией дерева, но настоящим деревом».

452. Будет неразумно сомневаться, что это настоящее или единственное дерево.

Моя догадка, вне сомнения, не важна. Если сомнение неразумно, этого не понять с моей позиции. Поэтому должно быть правило, объявляющее сомнение неразумным в данном случае. Но такого правила тоже нет.

453. Я говорю: «Здесь не усомнится ни один разумный человек». Можем ли мы вообразить, как ученых судей спрашивают, разумно сомнение или неразумно?

454. В некоторых случаях сомнение неразумно, в других оно кажется логически невозможным. И между двумя этими категориями нет четкой границы.

29.03.1951

455. Всякая языковая игра основана на повторном узнавании слов и объектов. Мы столь же твердо узнаем, что это стул, как и то, что $2 \times 2 = 4$.

456. Если поэтому я сомневаюсь или не уверен относительно своей руки (в любом смысле), почему бы мне также не усомниться в значении этих слов?

457. Хочу ли я сказать, что достоверность есть свойство языковой игры?

458. Сомнение возникает на основании чего-либо. Вопрос таков: каким образом сомнение вводится в языковую игру?

459. Если бакалейщик захочет без причины проверить все яблоки в лавке, просто чтобы удостовериться, почему бы ему не перепроверить такую проверку? Здесь можно рассуждать о вере (я имею в виду веру в религиозном смысле, а не допущение)? Любые психологические термины лишь отвлекают нас от того, что по-настоящему важно.

460. Я иду к врачу, показываю ему свою руку и говорю: «Это рука, а не... Я пострадал и т. д.». Даю ли я ему сведения, которыми можно пренебречь? Например, не скажут ли мне: допустим, фраза «Это рука» содержит некие сведения — как вы можете рассчитывать, что врач оценит эти сведения? На самом деле если сомнительно, что «это рука», почему не сомнительно также, что я — человек, сообщающий нечто врачу? С другой стороны, можно вообразить случай — пусть и редчайший, — когда это сообщение важно или полезно, но не абсурдно.

461. Допустим, я врач и ко мне пришел пациент, показал мне свою руку и сказал: «Эта штука, которая выглядит как рука, не есть точная копия; это и вправду рука», после чего стал рассказывать о болезни; должен ли я принять его слова за полезные сведения, пусть даже сведения

пренебрежимые? Или же скорее я сочту их чепухой, которая почему-то облечена в форму содержательного суждения? Ведь, я полагаю, если эти сведения значимы, как он может быть уверен в том, что говорит? Отсутствует фон, который превращает слова в сведения.

30.03.1951

462. Почему Мур не приводит в качестве примера того, что он знает, суждение, что в такой-то части Англии есть деревня под таким-то названием? Иными словами: почему он не упоминает тот факт, который известен ему, но не каждому из нас?

31.03.1951

463. Верно, что фраза «Это дерево», когда никто в ней не сомневается, может быть разновидностью шутки и в таком качестве иметь значение. Подобным образом некогда шутил Ренан.

03.04.1951

464. Мои затруднения можно показать и следующим образом: я сижу и разговариваю с приятелем, и внезапно говорю: «Я всегда знал, что вы такой-то». Это бесполезное, пусть и истинное сообщение?

Я чувствую, что эти слова похожи на «Доброе утро», сказанное кому-либо посреди беседы.

465. Что, если мы использовали бы фразу: «Сегодня известно, что существует более... видов насекомых» вместо: «Я знаю, что это дерево»? Если некто произнесет первое предложение вне контекста, могут подумать: он размышляет о чем-то своем и случайно озвучил собственные мысли.

Или снова: он в трансе и говорит, не понимая того, о чем говорит.

466. Так, мне кажется все время, что я что-то знаю, но смысла говорить об этом, изрекать эту истину я не нахожу.

467. Я сижу с философом в саду, и он повторяет снова и снова: «Я знаю, что это дерево» и указывает на дерево рядом с нами. Подходит некто и слышит эти слова, и я ему говорю: «Это человек не безумен. Мы лишь занимаемся философией».

04.04.1951

468. Кто-то говорит между делом: «Это дерево». Он мог сказать это, потому что вспомнил, что слышал данную фразу в схожей ситуации, или вдруг поразился красоте дерева и потому воскликнул в восторге; или же он озвучил предложение как грамматический пример и т. д. И я спрашиваю его: «Что вы имели в виду?», а он отвечает: «Это сведения, адресованные вам». Располагаю ли я свободой допускать, что он не знает, что именно говорит, если он достаточно безумен, чтобы сообщать мне подобные сведения?

469. Посреди беседы кто-то говорит мне: «Желаю удачи». Я изумлен; но позднее я понимаю, что эти слова связаны с его размышлениями на мой счет. И теперь они вовсе не кажутся мне бессмысленными.

470. Откуда сомнения, что меня зовут Л. В.? Это вовсе не кажется тем, в чем можно не сомневаться. Никто не решит, что это неоспоримая истина.

05.04.1951

[В моем мышлении по-прежнему пробел. И я сомневаюсь, можно ли его заполнить.]

471. Так сложно отыскать начало. Или лучше: трудно начать с начала. И не пытаться уйти глубже.

472. Когда ребенок учится языку, он также учится тому, что надлежит исследовать, а что — нет. Когда он узнает, что в комнате стоит буфет, его не учат сомневаться в том, что он увидит позднее — тот же буфет или декорацию.

473. Как в письме мы узнаем основную форму букв и потом ее варьируем, так и в жизни мы сначала узнаем о стабильности предметов как о норме, подверженной изменениям.

474. Игра доказывает свою ценность. Вот почему в нее играют, но это не основание игры.

475. Я хочу рассмотреть человека как животное, как первобытное существо, наделенное инстинктом, но не разумом.

Как существо первобытной эпохи. Всякая логика, подходящая для примитивного общения, не требует апологии. Язык возникает вовсе не из рационализации.

06.04.1951

476. Дети не научаются тому, что учебники существуют, что существуют кресла и т. д.; они учатся носить учебники, сидеть в креслах и т. п.

Позднее, разумеется, возникают вопросы о бытии. «Есть ли единороги?» и так далее. Но подобный вопрос

возможен лишь потому, что никакой соответствующий вопрос не постулирован в качестве правила. Откуда нам знать, как убедиться в существовании единорогов? Как узнать метод определения того, существует нечто или нет?

477. «Значит, человек должен знать, что объекты, именам которых он учит ребенка, заведомо существуют». «И почему он должен это знать? Или недостаточно, что опыт позднее убеждает его в обратном?»

И почему эта языковая игра должна основываться на некоем знании?

07.04.1951

478. Верит ли ребенок, что молоко существует? Или он это знает? Знает ли кошка о существовании мышей?

479. Хотим ли мы сказать, что знание о наличии физических объектов приходит слишком рано — или поздно?

08.04.1951

480. Ребенок учится использовать слово «дерево». Кто-то подводит его к дереву и говорит: «Прекрасное дерево!»

Ясно, что в этом случае в языковую игру не проникает и тени сомнения относительно существования дерева. Но знает ли ребенок, что «дерево существует»? Допустим, верно, что знать что-то не означает думать об этом, однако не должен ли всякий, кто что-то знает, уметь сомневаться? А сомнение подразумевает мышление.

481. Когда слышишь, как Мур говорит: «Я знаю, что это дерево», внезапно понимаешь, что те, кто так говорит, считают все устоявшимся.

Все представляется туманным и размытым. Как если бы Мур описал нечто в ложном свете.

Как если бы я смотрел на картину (скажем, на декорацию) и понимал, что она изображает, с очень большого расстояния, но без малейших сомнений. Но вот я делаю шаг вперед и вижу множество пятен различных цветов, которые все многозначны и не обладают никакой достоверностью.

482. Как если бы «я знаю» не имело метафизического акцентирования.

483. Корректное использование фразы «я знаю». Человек с плохим зрением спрашивает меня: «Вы верите, что мы видим именно дерево?» Я отвечаю: «Я знаю это. Я вижу его четко и оно привычных очертаний». А: «N. N. дома?» Я: «Полагаю, да». А: «А вчера он был дома?» Я: «Вчера был — я знаю это; я говорил с ним». А: «Вы знаете или просто верите, что эта часть дома выстроена позже остального?» Я: «Я знаю это, узнал оттуда-то».

484. В этих случаях говорят «я знаю» и упоминают причину знания или могут ее упомянуть.

485. Мы можем также вообразить случай, когда человек смотрит на некий список суждений и одновременно спрашивает себя: «Знаю я это или просто верю?» Он хочет проверить достоверность каждого суждения в отдельности. Это почти все равно как выступать свидетелем в суде.

09.04.1951

486. «Вы знаете или просто верите, что вас зовут Л. В.?» Вопрос имеет смысл?

Вы знаете или просто верите, что пишете немецкие слова? Вы просто верите, что слово «верить» имеет значение? И какое же это значение?

487. Каковы доказательства того, что я что-то знаю? Уж наверняка не то, что я говорю об этом.

488. И потому когда писатели перечисляют все, что им известно, это ничего не доказывает.

Возможность знания о физических объектах не может быть доказана уверениями тех, кто верит, что обладает подобным знанием.

489. Ибо что ответить тому, кто говорит: «Я верю, что знание словно осеняет»?

490. Когда я спрашиваю: «Я знаю или просто верю, что меня зовут так-то?», нет смысла заглядывать в себя.

Но я могу сказать: у меня не только никогда не было сомнений на сей счет, но и нет повода судить о справедливости сомнений в этом.

10.04.1951

491. «Я знаю или просто верю, что меня зовут Л. В.?» Конечно, если вопрос означает: «Я уверен или лишь предполагаю», тогда на мой ответ можно положиться.

492. Вопрос: «Я знаю или просто верю» можно выразить и так: что, если выяснится, что до сих пор казавшееся неоспоримым убеждение является ложным допущением? Отреагирую ли я так, как реагирую, когда выясняется ложность веры? Или у меня из-под ног словно вышибет почву, на которой я стоял? Разумеется, это вовсе не пророчество.

Я просто скажу: «Я об этом никогда не думал»? Или же откажусь (вынужден буду) менять свои суждения, поскольку «ревизия» приведет к уничтожению всех опор?

493. Итак: я должен признавать некие авторитеты, чтобы рассуждать?

494. «Я не могу сомневаться в этом суждении, не приведя всех доводов».

Но что это за суждение? (Напоминает слова Фреге о законе тождества.) Разумеется, не эмпирическое суждение. И к психологии оно не относится. Скорее, оно носит характер правила.

495. Можно просто сказать: «А, ерунда» в ответ на слова того, кто хочет возразить неоспоримому суждению. То есть не ответить, а оттолкнуть словом.

496. Сходно тому, как показать, что игра не имеет значения, заявив, что в нее всегда играли неправильно.

497. Если во мне хотят возбудить сомнения и говорят так: тут ваша память подводит, тут вы проглядели, тут вы снова не вполне правильно запомнили и т. д., и если я не позволяю себе усомниться, но твердо держусь веры, тогда мои действия не могут быть ошибочными, даже пусть они всего лишь определяют игру.

11.04.1951

498. Странно то, что хотя я считаю корректным говорить: «Ерунда» и отмахиваюсь от попыток заставить человека сомневаться, тем не менее я полагаю некорректным для него защищаться (использовать, например, фразу «я знаю»).

499. Можно выразить это и так: закон индукции имеет не больше оснований, чем любые достоверные предложения, относящиеся к опыту.

500. Но мне покажется бессмысленной и фраза: «Я знаю, что закон индукции верен».

Представьте себе подобное утверждение в зале суда! Точнее сказать: «Я верю в закон...»; слово «верить» здесь не имеет ничего общего с допущением.

501. Не приближаюсь ли я к тому, чтобы сказать, что в конце концов логика не может быть описана? Изучайте практику языка, тогда вы ее и обнаружите.

502. Можно ли сказать: «Я знаю положение своих рук с закрытыми глазами», если эта точка зрения всегда или почти всегда противоречит убеждениям других людей?

503. Я смотрю на объект и говорю: «Это дерево» или: «Я знаю, что это дерево». Теперь, если я подойду ближе и увижу, что это не так, я могу сказать: «Это не дерево на самом деле» или же: «Это было дерево, но уже не дерево». Но если все против меня и говорят, что это никогда не было деревом, если все доказательства обратны моим словам, какую пользу принесет, если я буду цепляться за свое «я знаю»?

504. Знаю ли я что-либо, зависит от доказательств в пользу этого или вопреки ему. Ведь сказать, что кто-то знает, что ему больно, значит не сказать ничего.

505. Всегда в пользу природы, что кто-то что-то знает.

506. «Если память меня подводит, она всегда могла меня подводить».

Если я не знаю этого, откуда мне знать, означают ли мои слова то, что я хочу ими обозначить?

507. «Если это меня обманывает, что значит “обманывать”?»

508. На что я могу положиться?

509. Я хочу сказать, что языковая игра возможна лишь тогда, когда человек чему-то верит (я не говорю: «может доверять»).

510. Если я скажу: «Я знаю, что это полотенце», я лишь произнесу фразу. И не задумаюсь об ее проверке.

Для меня это просто фраза.

Я не думаю о прошлом или будущем. (Как и Мур, конечно.)

Я просто беру нечто как полотенце, не испытывая сомнений.

511. И все же это действие соответствует уверенности, а не знанию.

Но не хватаюсь ли я так же и за имя предмета?

12.04.1951

512. Не в том ли вопрос: «Что, если придется изменить свое мнение даже в фундаментальных основах»? И ответ, как мне кажется, таков: «Менять не придется. В этом и заключается его фундаментальность».

513. Что, если случится нечто неслыханное? Если я увижу, к примеру, дома, постепенно испаряющиеся без видимой причины, или скот в поле, вставший на головы, смеющийся и заговоривший разумно, или деревья вдруг

превратятся в людей, а люди в деревья? Был ли я прав, когда говорил, прежде чем все произошло: «Я знаю, что это дом» или «Это дом» и т. д.?

514. Это положение кажется мне фундаментальным; если оно ложно, что такое тогда «истина» и «ложь»?

515. Если меня зовут не Л. В., как я могу полагаться на термины «истинное» и «ложное»?

516. Если произойдет нечто (кто-то мне что-то скажет), что заставит меня усомниться в собственном имени, тогда и основания для таких сомнений покажутся мне сомнительными, и я решу сохранить прежние убеждения.

517. Но возможно ли нечто такое, что полностью выбьет меня из колеи? Доказательство, которое опровергнет все, что казалось неоспоримым? Во всяком случае, нечто такое, что заставит меня отвергнуть мои фундаментальные убеждения? (Справедливо или нет, не имеет значения.)

518. Могу ли я представить, что наблюдаю это в другом человеке?

519. Допустим, выполняя приказ: «Подай мне книгу», вы захотите удостовериться, что предмет, который вы видите, на самом деле книга; вы по крайней мере знаете, что люди называют книгой; а если не знаете, то можете узнать, но при этом вы должны знать, что означают и другие слова. Тот факт, что слово значит то-то и то-то, употребляется так-то и так-то, есть факт эмпирический, подобный тому, что вы видите книгу.

Посему, чтобы вы могли выполнить приказ, должен быть некий эмпирический факт, относительно которого у

вас нет сомнений. Само сомнение коренится в том, что пребывает вне сомнений.

Однако поскольку языковая игра состоит из повторяющихся процессов, кажется невозможным сказать в конкретном случае, что то-то и то-то не подлежит сомнению в условиях языковой игры; хотя справедливо говорить, что, как правило, эмпирическое или иное суждение должно находиться вне сомнений.

13.04.1951

520. Мур был полностью вправе утверждать, что знает, что перед ним дерево. Естественно, он мог ошибаться (ведь знать — не то же самое, что верить в наличие дерева). Но прав ли он или нет, с философской точки зрения не важно. Если Мур нападал на тех, кто говорил, что человек не может этого знать, он не мог победить, уверяя, что знает. Ведь необходимости ему верить не было. А если его оппоненты твердили, что верить тому-то и тому-то нельзя, он мог просто ответить: «А я верю».

14.04.1951

521. Ошибка Мура в следующем — он опровергает утверждение, что человек не может знать, фразой «Я знаю».

522. Мы говорим: если ребенок овладел языком — и его применением, — он должен знать значения слов. Должен, например, уметь применять названия цветов к белому, черному, красному или синему объекту без тени сомнений.

523. И в самом деле тут нет сомнений; никто не удивится, что мы не просто предполагаем значения наших слов.

15.04.1951

524. Важно для наших языковых игр (например, «приказывай и повинуйся»), что в некоторых случаях сомнений не возникает. Или же достаточно ощущения, что все верно, пусть и при малейшей тени сомнения?

То есть, достаточно ли, что я не называю, вопреки обыкновению, нечто черным, зеленым или красным без тени сомнения, но говорю: «Я уверен, что это красное», как кто-то может сказать: «Я уверен, что он придет сегодня» (иными словами, не «полагаю», а «уверен»)?

Сопутствующее ощущение нам, конечно, не важно, и не требуется уделять особое внимание фразе «я уверен, что». Важно то, различно ли они выступают в языковой игре.

Можно спросить, всегда ли человек, говорящий так, говорит «я уверен» в случаях, когда (например) в сообщении присутствует уверенность (в эксперименте, к примеру, мы смотрим сквозь стенку колбы и сообщаем, что видим). Если да, нам покажется необходимым проверить его слова. Но если он окажется полностью надежным, скажут, что его манера речи есть лишь причуда, которая не влияет на суть сказанного. Можно, например, допустить, что он читал философов-скептиков, убедился, что нельзя что-либо твердо знать, и потому принял такую манеру. Когда мы к ней привыкнем, она перестанет нас отвлекать.

525. Каков же тогда случай, когда человек и вправду отличается своим отношением, скажем, к именам цветов? Случай, где существует легкая тень сомнения или его возможность?

16.04.1951

526. Если кто-то посмотрит на английский почтовый ящик и скажет: «Я уверен, он красный», мы можем предположить, что он — дальтоник или недостаточно хорошо владеет языком и не знает названий цветов.

Если то и другое неверно, мы попросту не поймем говорящего.

527. Англичанин, который называет этот цвет красным, не уверен, что он называется красным по-английски.

Ребенок, который овладел словами, не уверен, что в языке этот цвет называется так-то. И нельзя сказать о нем, что, обучаясь говорить, он учится тому, как называть цвета по-английски; еще рано: он узнает это, когда научится употреблению слов.

528. Вопреки этому: если кто-то спросит меня, как такой-то цвет называется по-немецки, и я отвечу, а он спросит: «Вы уверены?» — я отвечу: «Я знаю это. Немецкий — мой родной язык».

529. И ребенок скажет о другом или о себе, что уже знает, как называется то-то и то-то.

530. Я могу сказать: «Этот цвет по-английски называется красным» (например, когда обучаю английскому языку). В этом случае я не должен говорить: «Я знаю, что этот цвет...», но скажу, скорее, что только что узнал это или что это так по контрасту с другим английским словом, которого я не знаю.

531. Но не правильно ли описать мое текущее состояние так: я знаю, как этот цвет называется по-английски?

И если это правильно, почему бы не описать мое состояние словами «я знаю»?

532. Так что когда Мур сидит перед деревом и говорит: «Я знаю, что это дерево», он просто констатирует истину о своем текущем состоянии.

[Я философствую как старуха, которая всегда что-то теряет и вынуждена заново искать: то очки, то ключи.]

533. Что ж, если правильно описывать его состояние вне контекста, тогда столь же правильно произносить слова «это дерево» вне контекста.

534. Но неверно ли говорить: «Ребенок, овладевший языковой игрой, должен знать нечто»?

Если вместо этого сказать «должен уметь нечто делать», это будет плеоназм, и все же — именно довод против первого суждения. Но: «Ребенок приобретает знания по естественной истории». Это предполагает, что ребенок в состоянии спросить, как называется то или иное растение.

535. Ребенок знает, как что называется, если он может правильно ответить на вопрос: «Как это называется?»

536. Разумеется, ребенок, который только учится говорить, не имеет понятия о названиях.

537. Можно ли сказать о том, кто не имеет понятия, что он знает, как что называется?

538. Ребенок, следует уточнить, учится реагировать так-то и так-то; и о своих реакциях пока ничего не знает. Знание приходит на более позднем этапе.

539. Со знанием так же, как с накапливанием?

540. Собаку можно научить бежать к N по команде «N» и к M по команде «M», но будет ли это означать, что она знает имена этих людей?

541. «Он знает лишь, как зовут этого человека, но не как зовут вон того». Такого, строго говоря, нельзя сказать о том, кто еще не осознал, что у людей есть имена.

542. «Я не могу описать этот цветок, если не знаю, какой цвет называется "красным"».

543. Ребенок использует имена людей задолго до того, как сможет сказать: «Я знаю его имя; а имени вот этого человека пока не знаю».

544. Конечно, я могу истинно сказать: «Я знаю, как этот цвет называется по-английски», одновременно указывая (например) на цвет свежей крови. Однако...

17.04.1951

545. «Ребенок знает, какой цвет обозначает слово "синий"». Что он знает, далеко не просто.

546. Следует сказать: «Я знаю, как называется этот цвет», если, к примеру, идет обсуждение оттенков цвета, название которого известно не всем.

547. Нельзя сказать ребенку, который только начал учиться говорить и уже употребляет слова «красный» и «синий»: «Давай, ты же знаешь, как называется какой цвет».

548. Ребенок должен научиться употреблять названия цветов прежде, чем начнет спрашивать об этих названиях.

549. Неверно говорить, что я могу сказать лишь: «Я знаю, что это стул», когда это на самом деле стул. Конечно, это не будет верно, если стула нет, но я вправе сказать это, если я уверен, что стул есть, пусть я и ошибаюсь.

[Претензии как закладная, которая обременяет способность философа мыслить.]

18.04.1951

550. Если кто-то во что-то верит, мы не всегда можем ответить на вопрос: «Почему он в это верит?»; но если он что-то знает, тогда вопрос «Откуда?» должен иметь ответ.

551. И если требуется ответить на этот вопрос, делать это нужно на основании общепринятых аксиом. Именно так узнается нечто подобное.

552. Знаю ли я, что сижу на стуле? Или не знаю? При текущих условиях никто не скажет, что я это знаю; но не скажут и что, к примеру, я обладаю сознанием. Никто обычно не говорит такого о прохожих на улице.

Но пусть об этом не говорят, разве отсюда следует, что это неверно?

553. Странно: если я скажу, без особого повода, «я знаю» — например, «Я знаю, что сижу на стуле», — это высказывание покажется мне неоправданным и предположительным. Но если я произнесу то же самое в случае, когда того требует ситуация, тогда, пусть я ни на йоту более не уверен в его истинности, высказывание покажется оправданным и вполне обыденным.

554. В своей языковой игре оно не предположительно. В ней оно — всего лишь элемент человеческой языковой

игры. И в ней оно находит .свое ограниченное применение.

Но едва я произнесу это предложение вне контекста, оно покажется ложным. Будет как если бы я хотел настоять, что есть нечто, мне известное. Сам Господь не в силах сообщить мне что-либо об этом.

19.04.1951

555. Мы говорим, что знаем, что вода закипает на огне. Откуда нам это знать? Нас учит опыт. Я говорю: «Я знаю, что завтракал сегодня утром». Этому меня научил вовсе не опыт. Также говорят: «Я знаю, что ему больно». Языковая игра всякий раз новая, мы всякий раз уверены, и другие согласятся с нами, что мы всякий раз пребываем в позиции, допускающей знание. И потому суждения физики встречаются в учебниках для широкой публики.

Если кто-то говорит, что что-то знает, это что-то должно быть тем, что он, по общему мнению, способен узнать.

556. Не говорят: он в состоянии верить тому-то.

Но говорят: «Разумно допустить это в данной ситуации (или поверить этому)».

557. Трибунал может решить, разумно ли в такой-то ситуации допускать то-то и то-то с известной долей уверенности (пусть и ошибочно).

558. Мы говорим, что знаем, что вода закипает, а не замерзает при таких-то условиях. Возможно ли, чтобы мы ошибались? Не скрывается ли за всеми нашими рассуждениями ошибка? Более того, что останется, если откроется ошибка? Может ли кто-либо выяснить нечто, что заставит нас признать ошибку?

Что бы ни случилось в будущем, как бы ни повела себя вода, мы знаем, что до сих пор она вела себя именно так в бесчисленном множестве случаев.

И этот факт входит в основания нашей языковой игры.

559. Следует помнить, что цель языковой игры — сообщить нечто непредсказуемое. То есть ни на чем не основанное. Неразумное (не поддающееся рационализации).

Оно как наша жизнь.

560. И понятие знания сочетается с понятием языковой игры.

561. «Я знаю» и «Вы можете на это положиться». Но далеко не всегда последнее подменяет первое.

562. Во всяком случае важно представлять себе язык, в котором не существует нашего понятия знания.

563. Говорят: «Я знаю, что ему больно», хотя и не приводят к тому убедительных оснований. Все равно что сказать: «Я уверен, что ему...»? Нет. «Я уверен» выражает субъективную достоверность. «Я знаю» означает, что я это знаю, и с тем, кто не знает, нас разделяет разница в глубине понимания. (Возможно, основанная на разнице в обширности опыта.)

Если я говорю: «Я знаю» в математике, основанием для этого высказывания будет доказательство.

А если в двух этих случаях вместо «я знаю» сказать «можете на это положиться», в каждом случае замещение будет происходить особым способом.

И замещение имеет пределы.

564. Языковая игра: носить кирпичи, сообщая о количестве доступных камней. Количество порой оценочное,

порой — счетное. И возникает вопрос: «Вы верите, что осталось столько-то камней?» Ответ будет: «Я знаю, что их столько; сам сосчитал». Но здесь «я знаю» можно опустить. Если же, однако, имеется несколько способов узнать нечто наверняка, например счет, взвешивание, измерение, тогда фраза «я знаю» может заменять собой объяснение того, как я узнал.

565. Но тут не присутствует никакое «знание» о том, что это называется «плита», это — «опора» и т. д.

566. И ребенок, который учится моей языковой игре, не учится говорить: «Я знаю, что это называется плитой».

Конечно, есть языковые игры, в которых дети используют такие предложения. Из чего следует, что дети уже способны использовать имена, едва их узнав. (Как если бы кто-то сказал мне: «Этот цвет называется...») Итак, если ребенок научился языковой игре в строительство, можно сказать что-то вроде: «А этот камень называется...», и тем самым исходная языковая игра расширяется.

567. Теперь к моему знанию, что меня зовут Л. В. Аналогично ли оно тому знанию, что вода закипает при 100°С? Конечно, вопрос сформулирован неверно.

568. Если одно из моих имен используется крайне редко, тогда может случиться, что я его не знаю. Принимается как данность, что я знаю свои имена, лишь потому, что, как и любой человек, я ими постоянно пользуюсь.

569. Внутренний опыт не покажет мне, что я что-то знаю.

Посему, если я вопреки тому говорю: «Я знаю, что меня зовут...», это очевидно не эмпирическое суждение.

570. «Я знаю, что это мое имя; у нас всякий взрослый знает, какое у него имя».

571. «Меня зовут так-то; можете на это положиться. Если выяснится, что это не так, вам не придется верить мне в дальнейшем».

572. Не кажется ли мне, что я не могу ошибаться относительно своего имени?

Это выражается в таких словах: «Если тут ошибка, значит, я безумен». Отлично, но это просто слова; какое влияние они оказывают на употребление языка?

573. Через невозможность убеждения меня в обратном?

574. Вопрос в том, к какому роду относится суждение: «Я знаю, что в этом не могу ошибаться» или же: «Я не могу в этом ошибаться»?

Это «я знаю» кажется выводимым из всех оснований сразу: я просто знаю. Но если вообще возможен вопрос об ошибке, тогда должно быть возможно и проверить, действительно ли я нечто знаю.

575. Посему целью фразы «я знаю» может быть указание на то, можно ли на меня полагаться; но там, где это происходит, полезность этого знака извлекается из опыта.

576. Можно сказать: «Откуда мне знать, что я не ошибаюсь относительно своего имени»? И если ответом будет: «Потому что я часто его использую», могут спросить: «Откуда мне знать, что я и тут не ошибаюсь?» И, значит, вопрос: «Откуда мне это знать?» уже не имеет никакого значения.

577. «Мое знание о собственном имени абсолютно определенно».

Я откажусь принимать доводы в пользу обратного.

И что значит «Я откажусь»? Это выражение намерения?

578. Но не может ли высший авторитет убедить меня, что я не ведаю истины? И мне придется просить: «Научи меня!» Придется открывать глаза.

579. Часть языковой игры в имена собственные состоит в том, что всякий твердо знает собственное имя.

20.04.1951

580. Вполне может быть, что, говоря «я знаю», я неизменно ошибаюсь. (Это показывается.)

581. Но возможно, что я не способен помочь себе и потому продолжаю твердить: «Я знаю». Однако спросите себя: откуда ребенок узнает это выражение?

582. «Я знаю, что» может означать: «Я вполне знаком с этим» или «Это наверняка так».

583. «Я знаю, что имя этому такое-то». Откуда вы знаете? «Я усвоил...»

Могу ли я заменить «имя такое-то» на «я знаю» в данном примере?

584. Возможно ли использовать глагол «знать» лишь в вопросе: «Откуда вы знаете?», следующем за простым утверждением? Вместо «я уже это знаю» можно говорить «я знаком с этим», и это будет следовать за сообщением о факте. Но что говорить вместо «я знаю, что...»?

585. Разве «Я знаю, что это дерево» не сообщает отличное от: «Это дерево»?

586. Вместо: «Я знаю, что это» можно сказать: «Я могу сказать, что это». И если принять эту форму выражения, что станет с фразой: «Я знаю, что это»?

587. Возвращаясь к вопросу, сообщает ли «я знаю, что это...» нечто отличное от «это...». В первом суждении упоминается говорящий, во втором — нет. Но это не показывает, что у суждений разные значения. При всех условиях первое предложение часто заменяется вторым, а последнее нередко подчеркивается особой интонацией. Ибо люди говорят по-разному, когда делают неоспоримые утверждения и когда произносят утверждения, которые можно оспорить.

588. Но разве я употребляю фразу «Я знаю, что...» не для того, чтобы охарактеризовать особое состояние, тогда как простое утверждение «это...» ничего подобного не характеризует? И все же часто на такие утверждения отвечают вопросом: «Откуда вы знаете?» Но, разумеется, лишь потому, что факт, мною утверждаемый, позволяет понять, что я его знаю. Это можно сформулировать и следующим образом: в зоопарке может висеть указатель «Зебра», но не «Я знаю, что это зебра».

«Я знаю» обладает значением, лишь когда его произносят. С учетом этого не имеет значения форма, будь то «я знаю» или «это...».

589. Как человек учится осознавать собственное состояние познания?

590. В лучшем случае можно говорить об узнавании состояния, такого, о котором говорится: «Я знаю, что это».

Здесь можно удовлетвориться тем, что действительно что-то знаешь.

591. «Я знаю, какой породы этой дерево. Это каштан».

«Я знаю, какой породы это дерево. Я знаю, что это каштан».

Первое суждение звучит более естественно, чем второе. «Я знаю» обычно произносят во второй раз, если хотят особо подчеркнуть достоверность; например, чтобы предупредить возражения. Первое же «я знаю» грубо означает «я могу сказать».

Но в ином случае можно начать с наблюдения «это...», а затем, когда возразят, продолжить: «Я знаю, какой породы это дерево» и тем самым подчеркнуть свою уверенность.

592. «Я могу сказать, что это за... без тени сомнения».

593. Даже когда «я знаю» возможно заменить на «это...», все равно нельзя заменить отрицание одного отрицанием другого.

С «я знаю» в наши языковые игры вводится новый элемент.

21.04.1951

594. Меня зовут Л. В. Если кто-то станет возражать, я незамедлительно укажу на связи с бесчисленными фактами, которые делают это утверждение достоверным.

595. «Но я могу вообразить, что все эти связи никак не соотносятся с реальностью. Почему бы не счесть это положение аналогичным случаем?»

Если я воображу такого человека, я также воображу и реальность, мир, его окружающий; и воображу, как он мыслит (и говорит) вопреки этому миру.

596. Если кто-то скажет мне, что его зовут N. N., будет осмысленно спросить: «А вы не ошибаетесь?» Это допустимый вопрос в данной языковой игре. И ответ на это, утвердительный или отрицательный, также имеет смысл. Конечно, этот ответ тоже может быть ошибочным, то есть возможны случаи, когда он будет ошибочным, но это не лишает вопрос «А вы не...» и ответ «Нет» значимости.

597. Ответ на вопрос: «А вы не ошибаетесь?» придает суждению определенность. Ответ может быть таким: «Не думаю».

598. Но нельзя ли ответить на этот вопрос так: «Я опишу случай, и вы сами решите, могу ли я ошибаться»?

Например, если возникает вопрос о чьем-либо имени, факт может заключаться в том, что этот человек никогда не пользовался своим именем, но прочитал его в каком-то документе; с другой стороны, ответ может быть таким: «Я ношу это имя всю жизнь, меня так называют все вокруг». Если это не тождественно фразе: «Я не могу ошибаться», тогда последняя вообще не имеет значения. Тем не менее она очевидно указывает на весьма важное различие.

599. К примеру, можно описать достоверность суждения, что вода закипает при температуре около 100°С. Это не суждение, которое я некогда слышал (наподобие мимолетного упоминания). Я сам проводил эксперимент в школе. Суждение относится к числу элементарных суждений из учебников, которым в этом отношении можно доверять, поскольку... Можно привести возражения против этого, которые покажут, что люди склонны считать достоверным то-то и то-то, что в дальнейшем, по моему мнению, оказывается ложным. Но довод бессмысленен. Говорить: в конце концов мы лишь добавляем основания, которые полагаем основаниями, значит не говорить ничего.

Я верю, что в основе этого лежит непонимание природы наших языковых игр.

600. Какие у меня есть основания доверять учебникам по экспериментальной физике?

У меня нет оснований им не доверять. И я им доверяю. Я знаю, как пишутся такие книги — скорее, верю, что знаю. Я располагаю некоторыми доказательствами, но их немного, и они не составляют системы. Я что-то слышал, видел и читал.

22.04.1951

601. Всегда существует опасность возжелать найти значение выражения, изучая само выражение и состояние рассудка, в котором человек его использует, вместо того, чтобы обратиться к изучению практики. Вот почему столь часто повторяют выражение самим себе; как если бы человек хотел найти то, что ищет, в самом выражении и в ощущении, которое оно создает.

23.04.1951

602. Как мне сказать: «Я верю в физику» или: «Я знаю, что физика истинна»?

603. Меня учили, что при таких-то условиях происходит то-то. Это выяснилось посредством нескольких экспериментов. Не то чтобы это что-то доказывало, если бы эксперименты не сочетались с другими, образуя своего рода систему. То есть люди проводят эксперименты не просто с падением тел, но и с сопротивлением воздуха, и прочие.

Но в итоге я полагаюсь на результаты этих экспериментов или на сообщения о них. Я не испытываю сомнений,

действуя согласно им. И разве это доверие себя не оправдывает? Насколько я могу судить — вполне.

604. В суде утверждение физика, что вода закипает при температуре около 100°C, будет принято безусловно.

Если я усомнюсь в этом, как мне его опровергнуть? Самому провести эксперимент? И что он докажет?

605. Но что, если утверждение физика не важно, что, если опираться на него столь же абсурдно, как на испытание огнем?

606. Что в моем понимании некто ошибается, не может служить основанием для допущения, что и я ошибаюсь. Но не основание ли это для допущения, что я могу ошибаться? Это не основание для неуверенности в рассуждениях и действиях.

607. Судья может даже сказать: «Это истина, насколько человек может ее постичь». Но что этим будет сказано? («Вне всяких сомнений»?)

608. Неверно ли опираться в действиях на суждения физики? Хочу ли я сказать, что у меня нет твердых оснований для этого? Не это ли мы называем «надежным основанием»?

609. Допустим, мы знакомы с людьми, которые не считают это основанием. Как мы себе это представляем? Вместо физика они могут обратиться к оракулу. (И тогда мы сочтем их дикарями.) Ошибочно ли для них обращаться к оракулу и следовать его советам? Если мы скажем, что неверно, не воспользуемся ли мы своей языковой игрой как базой для нападения?

610. И вправе ли мы нападать? Разумеется, имеется множество лозунгов в поддержку наших действий.

611. Где сталкиваются два принципа, между которыми невозможно согласие, там каждый готов объявить противника глупцом и еретиком.

612. Я говорю, что буду «сражаться» с другим, но не дам ли я ему основания для схватки? Конечно, но насколько надежные? За причиной следует убеждение. (Представьте себе миссионеров, обращающих дикарей.)

613. Если я скажу: «Я знаю, что вода в котелке на газовой горелке не замерзнет, а закипит», это «я знаю» будет вполне оправданным. «Если я знаю что-либо, я знаю и это». Или я знаю с большей достоверностью, что человек напротив меня — мой старый друг такой-то? И как это сочетается с суждением, что я вижу двумя глазами и увижу их, если посмотрюсь в зеркало? Я не знаю наверняка, что ответить. Но все же между этими случаями имеется различие. Если вода на огне замерзнет, я, конечно, изумлюсь, но предположу некий фактор, о котором не знаю, и, быть может, оставлю изучать его физикам. Но что заставит меня усомниться в личности N. N., с которым я знаком многие годы? Здесь сомнение тянет за собой все остальное и швыряет мир в хаос.

614. То есть: если мне твердят со всех сторон, что этого человека зовут иначе, нежели я всегда знал (слово «знал» я использую намеренно), в этом случае меня лишают всех оснований для моих суждений..

615. Значит ли это: «Я могу рассуждать лишь постольку, поскольку в мире все устроено так-то (иначе, таким-то образом)»?

616. Почему не может быть немыслимо, что я прав, вопреки множеству фактов?

617. Конкретные события поместили меня в позицию, в которой я не могу долее продолжать прежнюю языковую игру.

В которой я лишаюсь уверенности в игре.

В самом деле, не очевидно ли, что возможность языковой игры определяется фактами?

618. В этом случае может показаться, что языковая игра должна «показывать» те факты, которые делают ее возможной. (Но все обстоит не так.)

Тогда можно сказать, и что известная регулярность событий делает возможной индукцию? «Возможной» значит, разумеется, «логически возможной».

619. Могу ли я сказать: даже при возникновении нерегулярности в естественном ходе событий это не должно выбить меня из седла? Я могу делать выводы, как и прежде, но называть ли это «индукцией» — другой вопрос.

620. В конкретных обстоятельствах говорят: «Можете положиться на это»; и данное утверждение может иметь или не иметь оправдание в повседневном языке, а также считаться обоснованным, когда не сбывается предсказанное. Существует языковая игра, в которой используется это утверждение.

24.04.1951

621. Если бы мы обсуждали анатомию, я мог бы сказать: «Я знаю, что от мозга отходят двенадцать пар нервов». Я никогда не видел эти нервы, и даже специалист наблюдал их

лишь на нескольких образцах. Зато здесь слово «знать» использовано корректно.

622. Но как корректно использовать слово «знать» в контексте, который упоминает Мур, по крайней мере, в конкретных условиях? (В самом деле, я не знаю, что значит «я знаю, что я человек». Но даже это может иметь смысл.)

Ведь для всех этих предложений я могу вообразить ситуации, когда они станут элементом языковой игры и тем самым утратят все, что в них поразительного с философской точки зрения.

623. Странно, что в подобном случае я всегда испытываю желание сказать (пусть и ошибочно): «Я знаю это — насколько вообще человек способен это знать». Это некорректно, но в том скрывается некая истина.

624. «Можете ли вы ошибаться насчет того, что этот цвет называется по-английски зеленым?» Моим ответом на такой вопрос будет только: «Нет».

Если я скажу: «Да, всегда есть возможность ошибиться», это не будет значить ничего.

Ведь разве это название незнакомо другим? И откуда оно известно мне?

625. Но значит ли это, что немыслимо, чтобы слово «зеленый» возникло благодаря оговорке вследствие минутной утраты ясности сознания? Разве нам неведомы подобные случаи? Можно также сказать другому: «Возможно, вы допустили ошибку». Это сводится к: «Подумайте еще раз». Но эти меры предосторожности имеют смысл, только когда они конечны.

Бесконечное сомнение не является сомнением вообще.

626. И не имеет смысла говорить: «Английское название этого цвета, конечно же, "зеленый", — если, разумеется, я не допускаю ошибки или не путаюсь».

627. Не следует ли вставить подобное пояснение во все языковые игры? (Оно покажет свою бессмысленность.)

628. Когда мы говорим: «Достоверные суждения следует освободить от сомнений», звучит так, будто я должен поместить эти суждения — к примеру, что меня зовут Л. В. — в учебник по логике. Ибо если они относятся к описанию языковой игры, они принадлежат логике. Но то, что меня зовут Л. В., не входит в число подобных описаний. Языковая игра, которая оперирует именами людей, существует, даже если я ошибаюсь относительно собственного имени; но она предполагает, что бессмысленно говорить, что большинство людей ошибаются насчет своих имен.

629. С другой стороны, правильно говорить о себе: «Я не могу ошибаться по поводу своего имени», и неправильно: «Возможно, я ошибаюсь». Отсюда вовсе не следует, что бессмысленно для других сомневаться в том, что я объявляю достоверным.

630. Вполне обычно не совершать ошибок в названиях ряда предметов на родном языке говорящего.

631. «Я могу допустить ошибку» просто характеризует личный способ утверждения.

632. Достоверная и недостоверная память. Если достоверная память в целом не более надежна, чем недостоверная, то есть если она не подтверждается проверкой чаще, нежели недостоверная, тогда выражение достоверности и

недостоверности не обладает своей текущей функцией в языке.

633. «Я не могу ошибаться»; но что, если я все же допущу ошибку? Разве такое невозможно? Тогда фраза «Я не могу...» станет бессмысленной? Или же лучше сказать: «Я едва ли могу ошибаться?»

Нет; это значит нечто иное.

634. «Я не могу ошибаться. И если дойдет до худшего, я сделаю свое суждение нормой».

635. «Я не могу ошибаться; я был с ним вчера».

636. «Я не могу ошибаться; и если все в конце концов окажется против этого, я буду держаться своего суждения вопреки обстоятельствам».

637. Фраза «Я не могу ошибаться» показывает, что я утверждаю ее место в игре. Но значима она для меня, а не для игры в целом.

Если я ошибаюсь, это не будет означать бесполезность языковой игры.

25.04.1951

638. «Я не могу ошибаться» — обычное предложение, которое наделяет утверждение достоверностью.

И лишь в повседневном употреблении оно обоснованно.

639. Но в чем хитрость, если — как признает всякий — я ошибаюсь; и и чем хитрость с суждением, которое оно призвано подкреплять?

640. Или следует сказать: это предложение исключает конкретные виды ошибок?

641. «Он рассказал мне об этом сегодня, и я не могу ошибаться». Но что, если это все же окажется ошибкой? Не следует ли проводить различие между тем, как нечто «оказывается ошибкой»? Как можно показать, что мое суждение ошибочно? Доказательство против доказательства, и нужно решить, какое предпочесть.

642. Но допустим, что кто-то предположил следующее: что, если я проснусь и скажу: «Только подумайте, я вообразил, что меня зовут Л. В.!»? Что ж, кто скажет, что я не проснусь снова и не скажу, что это причуды фантазии, и так далее?

643. Допустим, некто воображает случай — и такое возможно, — когда после «пробуждения» человек не испытывает сомнений, где фантазия, а где реальность. Но подобный случай, как и его возможность, не дискредитирует суждение «Я не могу ошибаться».

644. Ведь иначе не окажутся ли дискредитированными все суждения?

645. Я не могу ошибаться — но однажды, обоснованно или нет, могу решить, что я не в состоянии рассуждать об этом.

646. Если бы такое случалось всегда или хотя бы часто, это полностью изменило бы свойства языковой игры.

647. Есть разница между ошибкой, для которой отведено место в игре, и полной нерегулярностью, каковая случается как исключение?

648. Я могу также убедить другого, что не могу ошибаться.

Я говорю: «Такой-то был со мной утром и сказал мне то-то и то-то». Если это маловероятно, меня могут спросить: «Вы не ошибаетесь?» Вопрос будет означать: «Это вправду случилось утром?» или, с другой стороны: «Вы уверены, что правильно поняли?» Легко заметить, что я должен привести подробности, чтобы показать, что я не допустил ошибку. Но все они неспособны показать, что случившееся мне не привиделось, что я не вообразил это, грезя наяву. И нельзя показать, что я, возможно, совершил языковую ошибку. (Подобное бывает.)

649. (Я как-то сказал — по-английски, — что форма некоей ветки типична для веток вяза, а мой собеседник возразил. Затем мы миновали несколько ясеней, и я сказал: «Вот видите, о таких ветвях я и говорил». На что мне ответили: «Но это ясень, а не вяз», а я сказал: «Я всегда имею в виду ясень, когда произношу слово “вяз”».)

650. Это точно означает: возможность ошибки в ряде (многочисленном) случаев может быть устранена. Так устраняются ошибки в вычислениях. Ведь когда результат вычисления проверяется снова и снова, нельзя сказать: «Его правильность лишь весьма вероятна — поскольку ошибка все же могла проскочить». Допустим, покажется, что ошибка найдена; почему мы не можем предполагать, что она по-прежнему присутствует?

651. Я не могу ошибаться относительно того, что 12 × 12 равно 144. И никто не может противопоставлять математическую достоверность относительной недостоверности эмпирических суждений. Математические суждения возникают в результате процесса, действия которого ничем

не отличаются от иных действий в нашей жизни, и в той же степени уязвимы перед забывчивостью, небрежностью и иллюзией.

652. Могу ли я сказать, что люди никогда не отвергнут существующие арифметические суждения, никогда не скажут, что теперь-то они знают, как все обстоит? И оправдает ли это сомнения с нашей стороны?

653. Если суждение 12 × 12 = 144 не подлежит сомнению, точно так же следует воспринимать и нематематические суждения.

26.04.1951

654. Но против этого имеется множество возражений. Во-первых, тот факт, что 12 × 12 есть математическое суждение, и из него возможно вывести лишь иные математические суждения.

И если этот вывод не обоснован, должно быть суждение, столь же достоверное, относящееся к процедуре вычислений, но само по себе не математическое. Я думаю о таком суждении: «Умножение 12 × 12, когда его производят люди, знающие, как умножать, в большинстве случаев даст в результате 144».

Никто не оспорит это суждение, и оно, разумеется, не математическое. Но обладает ли оно достоверностью математического суждения?

655. Математическое суждение как оно есть располагает «меткой непогрешимости». То есть: «Спорьте о прочем; это неопровержимо. Это петля, на которой вращается ваш спор».

656. И этого нельзя сказать о суждении, что меня зовут Л. В. И не о суждении, что такие-то люди рассчитали то-то и то-то верно.

657. Суждения математики можно назвать ископаемыми. Суждения вида «Меня зовут...» — нет. Однако они также трактуются как неопровержимые теми, кто, подобно мне, располагает множеством свидетельств в их пользу. Ведь избыточность доказательств означает, что нам не нужно принимать во внимание противоречащие свидетельства. И мы имеем здесь опору наподобие той, которая делает неопровержимыми суждения математики.

658. Вопрос: «А не подпали ли вы под иллюзию, которую распознаете позднее?» может использоваться как возражение против всякого результата таблицы умножения.

659. «Я не могу ошибаться в том факте, что только что пообедал».

Если я скажу: «Я только что поел», собеседник может решить, что я лгу или на мгновение утратил соприкосновение с реальностью, но не поверит, что я ошибаюсь. В самом деле, допущение, что я могу ошибаться, здесь не имеет смысла.

Но это не верно. Я могу, к примеру, заснуть сразу после еды, сам того не заметив, и проспать час, но верить, что поел только что.

И все же я провожу различие между разными типами ошибок.

660. Я могу спросить: «Как я могу ошибаться в том, что меня зовут Л. В.?» И могу добавить: «Не вижу, как это возможно».

661. Как я могу ошибаться в допущении, что я никогда не бывал на Луне?

662. Если скажу: «Я никогда не бывал на Луне, но могу и ошибаться», это будет глупость.

Ведь даже мысль о том, что меня переправили туда во сне и неизвестным способом, не дает мне права говорить о возможности ошибки. Если я так скажу, то нарушу правила игры.

663. Я вправе сказать: «Я не могу ошибаться в этом», даже если ошибаюсь.

664. Различие таково: мы изучаем в школе, что правильно и ошибочно в математике, — или я сам утверждаю, что не могу допустить ошибку в суждении.

665. В последнем случае я добавляю нечто особое к общему.

666. Но как это происходит в примере с анатомией (если не в целом, то частично)? Разве ее описание не освобождено от сомнений?

667. Даже если я окажусь в стране, где верят, что люди во сне попадают на Луну, я не смогу сказать: «Я никогда не бывал на Луне; конечно, я могу ошибаться». А на вопрос: «Не ошибаетесь ли вы?» я должен ответить «Нет».

668. Какие практические последствия будет иметь, если я поделюсь какими-либо сведениями и скажу, что не ошибаюсь?

(Или могу добавить: «Я ошибаюсь в этом не больше, чем в том, что меня зовут Л. В.»?)

Мой собеседник может в этом усомниться. Но если он верит мне, то не только примет мои сведения, но и сделает определенные выводы из моей уверенности по поводу того, как я должен себя вести.

669. Предложение «Я не могу ошибаться» используется на практике. Но мы можем спросить, следует ли воспринимать его в строгом смысле или же как своего рода преувеличение, используемое лишь для убеждения?

27.04.1951

670. Мы можем рассуждать о фундаментальных принципах человеческого познания.

671. Если я улечу отсюда в ту часть мира, где люди обладают лишь неопределенными сведениями или вообще никакими, относительно возможности летать, и скажу им, что только что прилетел... Они спросят, не ошибаюсь ли я. У них очевидно ложное представление о том, как все обстоит. (Если бы я был упакован в коробку, для меня было бы возможно ошибаться относительно способа путешествия.) Если я просто скажу, что не ошибаюсь, это вряд ли их убедит; зато если я опишу им процедуру путешествия, это будет убедительно. Тогда они уже не станут рассматривать возможность ошибки. Но при этом — даже поверив мне — они могут посчитать, что я фантазирую или что некая магия заставила меня все это вообразить.

672. «Если я не верю этому доказательству, почему я должен верить другому?»

673. Не сложно ли провести различие между случаем, когда я не могу и когда я могу ошибаться? Всегда ли ясно, какой случай каков? Думаю, нет.

674. Бывают, однако, случаи, когда я вправе говорить, что не могу ошибаться, и Мур привел примеры таких случаев.

Я могу перечислить типичные случаи, но не в состоянии дать им общую характеристику. (N. N. не может ошибаться относительно того, что прилетел из Америки в Англию несколько дней назад. Только если безумен, может он считать возможным все на свете.)

675. Если некто верит, что прилетел из Америки в Англию в последние несколько дней, тогда, полагаю, он не может ошибаться.

Точно так же если кто-то говорит, что в настоящий миг сидит за столом и пишет.

676. «Но даже если в этих случаях я не могу ошибаться, есть возможность, что я одурманен лекарствами?» Если так и если некое лекарство затмило мой рассудок, тогда я на самом деле не говорю и не мыслю. Не могу полагать всерьез, что я сейчас «сплю». Тот, кто во сне говорит: «Я сплю», даже вслух, не более прав, чем если бы он говорил во сне: «Идет дождь», хотя бы на улице и шел дождь. Даже если его сон и связан непосредственно с шумом дождя за окном.

ПРИМЕЧАНИЯ

Перевод выполнен по изданиям: *Wittgenstein L.* Vermischte Bemerkungen. Revised second edition with English translation. Oxford, Blackwell Publishers Ltd, 1998; *Wittgenstein L.* Ueber Gewissheit. Revised edition with English translation. Oxford, Blackwell Publishers Ltd, 1998.

При переводе нередко приходилось использовать как немецкий, так и английский варианты текста, поскольку, как и другие сочинения Витгенштейна, эти работы изобилуют «темными местами», смысл которых становится понятен лишь при сопоставлении нескольких вариантов текста. Переводчик стремился по возможности точно передать лаконичный и в некотором отношении «рубленый» стиль заметок Витгенштейна и не совсем типичную авторскую стилистику, возможно, в известном смысле в ущерб благозвучности и простоте понимания.

КУЛЬТУРА И ЦЕННОСТЬ

1. Имеется в виду лейтенант Войеслав Моле, фронтовой товарищ Витгенштейна.

2. Перечисляются классики австрийской культуры: поэт и драматург Ф. Грильпарцер (1791–1872), поэт Н. Ленау (1802–1850), композитор А. Брукнер (1824–1896) и органист И. Лабор (1842–1924).

3. Арвид Сьогрен — друг и родственник Витгенштейна, муж его племянницы Клары Зальцер.

4. П. Энгельман — австрийский архитектор, друг Витгенштейна и его биограф.

5. *Renan E.* Histoire du Peuple d'Israël. Paris, 1893.V. 1, Ch. III.

6. Ранний вариант предисловия к «Философским заметкам».

7. *Лессинг Г. Э.* Воспитание рода человеческого. § 48–49.

8. К. Краус (1874–1936) — австрийский писатель и поэт, издатель и лектор, кумир культурной жизни Австрии начала XX столетия.

9. Ф. Шанц (1859–1944) — немецкая писательница и поэтесса.

10 . Досл. «Ход коня» (*нем.*), разновидность чайнворда, когда в пустых клетках располагаются слоги, которые следует объединять по диагонали, чтобы составить значимое слово.

11. Л. Больцман (1844–1906) — австрийский физик, основатель статистической механики и молекулярно-кинетической теории. Г. Р. Герц (1857–1894) — немецкий физик, доказавший существование электромагнитных волн. Г. Фреге (1848–1925) — немецкий математик и логик. Б. Рассел (1872–1970) — английский математик, логик, философ. А. Лоос (1870–1933) — австрийский композитор. О. Вайнингер (1880–1903) — австрийский философ, автор скандального исследования «Пол и характер» (1902). П. Страффа (1898–1983) — итальянский экономист, работал вместе с Витгенштейном в Кембридже.

12. Й. Брейер (1842–1925) — австрийский психотерапевт, один из основателей психоанализа.

13. М. Дробиль (1877–1958) — австрийский скульптор, в начале 1920-х годов лепил бюст Витгенштейна.

14. Измененная цитата из стихотворения И. В. Гете «Vanitas! Vanitatis vanitas», которое также использует в качестве названия первой главы своего труда «Единственный и его собственность» (1844) философ М. Штирнер. По замечанию редактора оригинального издания, Витгенштейн здесь скорее апеллирует к Штирнеру, чем к Гете.

15. Цитата из стихотворения в прозе «Мечта Эдуарда» немецкого рисовальщика и поэта В. Буша (1832–1908).

16. И. Нестрой (1801–1862) — австрийский драматург и оперный певец.

17. Имеется в виду главный герой провести немецкого романтика А. Шамиссо «Необычайная история Петера Шлемиля» (1814).

18. Плутовской роман немецкого писателя Г. Я. К. фон Гриммельсгаузена (ок. 1622–1676).

19. *Клейст Г. фон.* Письмо одного поэта другому. 5 января 1811 года.

20. Ф. Рэмси (Рамсей, 1903–1930) — английский математик и философ, близкий друг Витгенштейна.

21. А. Эддингтон (1882–1944) — английский философ и астрофизик, в 1921–1923 гг. президент Королевского астрономического общества.

22. См. «Философские исследования». Ч. I. § 131.

23. Т. Маколей (1800–1859) — влиятельный английский историк и государственный деятель.

24. Дж. Беньян (Буньян, Баньян, 1628–1688) — английский духовидец и религиозный писатель.

25. *Гете И. В.* Фауст. Ч. 1.

26. А. Р. — Анна Ребни, школьная учительница, с которой Витгенштейн познакомился в Норвегии.

27. Очевидно, имеется в виду московский Покровский собор, иначе — Василия Блаженного; Витгенштейн в 1935 г. посетил СССР.

28. *Шопенгаэур А.* Мир как воля и представление. Глава 39.

29. Имеется в виду Новый Завет.

30. Гретль — сестра Витгенштейна Маргарет (в замужестве Стонборо), для которой он вместе с П. Энгельманом построил в Вене дом по адресу: Кундмангассе, 19.

31. «Фортнум и Мейсон» — известный универмаг в Лондоне.

32. Бедекер — ставшая именем нарицательным фамилия немецкого издателя К. Бедекера (1801–1859), который первым в мире стал издавать путеводители.

33. «Тангейзер» — опера Р. Вагнера (1842–1845); полное название «Тангейзер и состязание певцов в Вартбурге». Нередко эту оперу также называют «Мейстерзингеры», от нем. *Meistersingers* — певцы.

34. См. примечание редактора к «Основаниям математики» Б. Рассела и А. Н. Уайтхеда.

35. См. «Философские исследования». Ч. I. § 546.

36. И. Юкунд (фра Джокондо, XV–XVI вв.) — францисканский монах, архитектор и антикварий. «Потерянный смех» — новелла классика швейцарской литературы Г. Келлера (1819–1890).

37. *Гете И. В.* Коринфская невеста.

38. См. «Философские исследования». Ч. II. Разд. IV.

39. Имеется в виду квартет Ф. Шуберта «Смерть и дева».

40. Фугато — в музыке фуга без устойчивого завершения; не бывает самостоятельным произведением.

41. М. Клаудиус (1740–1815) — немецкий писатель и поэт-сатирик.

42. *Ницше Ф.* Человеческое, слишком человеческое. I. § 155.

43. Такие плакаты висели в годы Второй мировой войны и несколько лет после нее.

44. *Лихтенберг Г. К.* Предисловие к «Тимору». Полностью фраза звучит так: «Ведь осел и бык тоже многое могут, но лишь человек способен уверять, что непременно сделает».

45. *Шиллер Ф.* Письмо к Гете, 17 декабря 1795 г.

46. К «Философским исследованиям».

47. Сан-Хуан де ла Крус, иначе святой Иоанн Креста (1542–1591) — испанский писатель и поэт-мистик, реформатор ордена кармелитов.

48. Э. Ван дер Нюль (1812–1868) — австрийский архитектор, в частности, разработал проект здания Венской оперы.

49. Дж. Уорд (1843–1925) — английский философ и психолог.

50. Имеется в виду В. Буш.

51. См. «Записные книжки», запись от 7 октября 1916 г.

52. Имеется в виду Восьмая симфония Л. ван Бетховена.

53. Дж. Мур (1973–1958) — английский философ, разрабатывал теорию познания, друг Витгенштейна.

54. «Путь паломника» — основное произведение Дж. Беньяна, аллегория испытаний на жизненном пути добропорядочного христианина.

55. Афоризм Г. Флобера.

56. Шаббат — в иудаизме седьмой день недели, в который Тора предписывает воздерживаться от трудов. По Библии — день седьмой, когда Господь «опочил от трудов Своих».

57. Коринфский багатель — разновидность бильярда: шар нужно загнать в одну из двенадцати лунок на столе.

58. Изохронизм — одинаковая продолжительность звучания единиц речи.

59. Д. Тови (1875–1940) — английский музыкальный критик, композитор и теоретик.

60. К. Барт (1886–1968) — швейцарский теолог, автор «Церковной догматики» в 13 томах (1932–1955).

О ДОСТОВЕРНОСТИ

1. Имеется в виду Дж. Г. Ньюман (Ньюмен, 1801–1890) — английский священнослужитель, религиозный мыслитель и писатель.

2. Речь о романах И. В. Гете «Годы учений Вильгельма Мейстера» (1795–1796) и «Годы странствий Вильгельма Мейстера» (1829).

3. А. Лавуазье (1743–1794) — французский ученый, основатель современной химии.

4. См. *Гете И. В.* Фауст. Ч. 1.

Содержание